

✓ А521
кр.

Б1128672



АЛТАЙ

2. 1981

Электронная библиотека АКУНЬ, elib.altlib.ru

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

61128672

A521
кр.

АЛТАЙ

1981

2

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ
АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Издается с 1947 года

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Михаил КОРОСТЕЛЕВ. Вьрьв. Повесть	6
Василий КУЛИКОВ. Три рассказа. Галя внештатная. Обгон. «Ишак» играет подъем	40
Георгий ЕГОРОВ. Нужны людям. Рассказы о моих друзьях	64

ПОЭЗИЯ

Марк ЮДАЛЕВИЧ. Фронтовые письма. Стихи	3
Игорь ПАНТЮХОВ. Там, в двух шагах за экватором...	36
Людмила КОЗЛОВА. Из первой книги. Стихи	39
Леонид МЕРЗЛИКИН. От звезды до малой былки... Стихи	61

ОЧЕРК, ПУБЛИЦИСТИКА

Николай ШЕРСТНЕВ. Контрасты предгорной нивы	98
Виктор СЕРЕБРЯНЫЙ. «...Ношу с собою»	108

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Иван САБЛИН. Алтайские очерки Федора Панферова	86
Федор ПАНФЕРОВ. Очерки	91

(см. на обороте)

КРИТИКА

Л. БОРИСОВ. Выстраданная память	112
Валентин КУРБАТОВ. Беспокойная прямота	115

ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ

Сергей МАЛЫЦЕВ. Человек из песни	83
Ростислав БРАТУНЬ. Алтайская быль. <i>Перевод с укр. В. Козодоева</i>	85

Редактор И. П. КУДИНОВ

Редакционная коллегия:

В. М. БАШУНОВ, И. И. БЕРЕЗЮК, П. А. БОРОДКИН,
Е. Г. ГУЩИН (зам. редактора), В. В. ДУБРОВСКАЯ, Л. И. КВИН,
В. Н. ПОПОВ, Н. М. ЧЕРКАСОВ, О. Н. ШЕВЧУК

б 1128672



АЛЬМАНАХ «АЛТАЙ» 1981 № 2

Художественный редактор В. Еранкин. Технический редактор М. Сафонова.
Корректоры Г. Ульченко, Н. Тырышкина

Рукописи не возвращаются

АГ 08143. Сдано в набор 26. 03. 1981 г. Подписано к печати 27. 01. 1981 г. Формат 70x108/16. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 10,15+0,175 усл. кр.-отт. Уч.-изд. л. 12,385. Тираж 7000 экз. Заказ № 581. Цена 50 коп.

Алтайское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли — 656015, Барнаул, Ленина, 76. Производственное объединение «Полиграфист» управления издательств, полиграфии и книжной торговли крайисполкома — 656023, Барнаул, Г. Титова, 3.

Адрес редакции: 656099, Барнаул, Новая, 11а. Телефон 2-14-53.

©«Алтай», 1981, № 2.

КР



Марк Иосифович Юдалевич родился в 1918 году в г. Боготоле Красноярского края, детство и юность провел в Барнауле. В 1940 году окончил Омский педагогический институт. Участник Великой Отечественной войны. Первые стихи были напечатаны во фронтовых газетах. Первая книга вышла в 1948 году на Алтае. С тех пор им написано и опубликовано в Барнауле, Новосибирске и Москве более тридцати книг — поэтических и прозаических. В театрах Сибири поставлено семь пьес. М. Юдалевич выступает и как критик, литературовед.
Член Союза писателей СССР.
Живет в Барнауле.

Марк ЮДАЛЕВИЧ

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА

НАЧАЛО

Я помню самое начало —
июньский день, и тишина,
и даже радио молчало...
И вдруг — война.
И все в ее тяжелой власти,
и ей одной подчинено,
и все на свете — на две части
июньским днем разделено:
что было до него и после.
И горизонт горел в крови,
и далеко, во чистом поле,
кипели первые бои.
И как удары ножевые,
каким до сердца путь прямой,
врывались в глубину России
бумаги с черною каймой.
И город наш под летним небом
стоял суров и небогат.
Стояла очередь за хлебом
и очередь в военкомат.

1941 г.

ДВА ФАШИСТА ПРОРВАЛИСЬ НА ХИМКИ

Два фашиста прорвались на Химки,
и не в снах бредовых — наяву
увидали в синеватой дымке
нашу неприступную Москву.
Два танкиста, вынырнув из люков,
взглядом покорителей глядят —
лес кварталов, чащи да излуки —

всей земли российской стольный град.
Открывался взору древний город,
в снеговой одетый до бровей,
и дворцы его глядели гордо,
и сияли маковки церквей.
Но в годину испытаний горьких
у Москвы особенный заряд —
вопреки известной поговорке
требует расчета за погляд.
Полыхают вражеские танки,
и в огне, железе и золе
двух фашистов черные останки
на чужой валяются земле.
А земля — она горит, дымится,
возмущенно, яростно гудит.
Кто еще торопится в столицу?
Мы готовы встретить — подходил..

1941 г.

ПОДМОСКОВЬЕ

Подмосковье мое, Подмосковье!
Все ты в черном, совсем по-вдовьи.
Подмосковье мое, Подмосковье!
Потемнели снега от крови.
Разлетелись от шума птицы,
только ворон добычи ищет,
только черный ворон кружится
над чернеющим пепелищем.
Подмосковье! Края святые!
Здесь вчера мы стояли грудью.
Не помогут врагам России
здесь ни танки и ни орудья.
Мы рванулись на Запад, выстояв,

мы идем огнем опаленные.
Отступают, бегут дивизии —
те фашистские, те хваленые.
Подмосковье мое, Подмосковье!
Это только еще присловье.
Это только еще начало,
мы стоим еще у причала.
Черной смертью врага окружим,
чтобы, нашей науке внемя,
никогда и никто с оружием
не ступал на русскую землю.

январь, 1942 г.

ЗАВОЕВАТЕЛЬ

Мы в разных видах их видали
на нашем зимнем ветерке —
в платке цветастом, в одеяле,
в рогоже и в половице.
А этот с носом темно-синим —
что там рогожа, что тряпье! —
бог знает где стащил перину
и чудом втиснулся в нее.
Пехотный взвод, дивясь наряду,
в котором пленный фриц предстал,
как говорится, до упаду
над «высшей расой» хохотал.
А он, трясущийся и грязный,
как будто жеваный лоскут,
твердил одну и ту же фразу:
«Капут! Германия капут!»
И старшина, извечно хмурый,
заметил:

— Мелет чепуху,
а все же понимает, шкура,
что рыльце у него в пуху.

1941 г.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ГРИШКА

Когда еще был я мальчишкой,
чудесный был друг у меня,
«заслуженный деятель Гришка»
прозвала его ребятня.
В его небольшой комнатухе
мы много часов провели,
блестели железные стружки,
валялись опилки в пыли.
Среди чертежей и тетрадок
лежал инструмент на полу,
не смея нарушить «порядок»,
братишка ютился в углу.
А Гришка выпиливал что-то,
какие-то книги листал,
какие-то делал расчеты,

изыскивал, изобретал.
Такие почти с колыбели
тропую науки идут.
Но встретил я друга в шинели
в кровавом военном году.
Солдатской заботой влекомый,
я в дальних краях побывал,
покуда добрался до дому —
немаленький срок миновал.
Узнал про товарища: где-то
в скалистых Карпатах лежит.
Обернуты старой газетой
желтеют его чертежи.
Кронциркуль разладился точный,
без дела скучает пила,
и в старенькой комнате прочный
приют тишина завела.
Любимый товарищ мой школьный!
Ну как я туда загляну!
С какой нестерпимую болью
чужую глотну тишину!
Но вот я стою возле двери,
а в горле назойливый ком.
За дверью — я слышу не веря —
по жести стучат молотком.
О, как мне знакомы движенья
подростка в рабочем тылу!
Но это не Гришка, а Женя —
мальчишка, что жался в углу.
Мы с Гришкой мечтали частенько
проведать Париж и Мадрид,
заслуженный деятель Женя
сейчас самолет мастерит.
...К нам смерти врываются круто,
но Жизнь стоит на своем...
Из комнатки тесной как будто
мне детство махнуло крылом.

1945 г.

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА

Капитану Гурьеву С. И.

Шла война.
И разве кто забудет,
сколько перечувствовали люди,
только в письмах, читанных в слезах,
может быть, об этом рассказав.
Схожие, без марок и конвертов,
письма были голосом мечты,
сколько в них огня, презренья к смерти,
в мятых, серых, сколько чистоты!
Старый друг, былой однополчанин!
В жизни будут горести, печали,
и нагрянут в сутолоке дней
испытанья, боевых сложней —
И пути поманят обходные —

вместе с умным гору обойти.
Вот тогда-то письма фронтовые,
что хранятся дома, перечти!
Помолчи над ними в час суровый,
самый трудный, самый горевой,
и как будто бой грохочет снова
у села Тучково, под Москвой.
Будто пахнет на ветру студеном
мясом человеческим паленым,
будто на ветру на том подряд
не костры — селения горят.
Будто ветер тот гуляет в поле,
волосы на мертвых шевеля,
и от взрыва, то ли вдруг от боли,
будто содрогается земля.
И солдатским званием венчанны,
будто снова мы однополчане,
и на нечисть мы идем войной,
за чужой не прячемся спиной.

1945 г.

* * *

День прозрачный, безмятежный, светлый.
Я лежу на скошенной траве,
стороной, чтоб солнце не поблекло,
облака бегут по синеве.
Тополиный пух колышет ветер,
тишина, кузнечики слышны...
Черт возьми! Как хорошо на свете,
если нет нигде-нигде войны!

1945 г.

ВОВЕКИ СТОЯТЬ РОССИИ

Когда я мечтою крылатой,
былое расшевели,
пройду не спеша с Арбата
до красной стены Кремля,
я, снова в толпе кочуя,

в кипенье улыбок, встреч,
всем сердцем своим почую,
что тяжесть скатилась с плеч.
Промчалась, слезой палима,
пора смертей и разлук.
К отчизне моей любимой
враги не протянут рук.
Забудут полки чужие
к границам ее пути,
вовеки стоять России,
цвести, хорошеть, расти.
Вовеки стоять столице,
шуметь — гудеть без конца,
покуда земля вертится,
покуда стучат сердца.

1945 г.

ВЕСНА 1945 ГОДА

Сошел покров блестящий снежный
с земли, от сырости гнедой.
И ветер южный, теплый, нежный
играет полою водой.
Мальчишка босоногий вышел
гонять ленивых голубей.
И небо стало много выше,
заманчивей и голубей.
Раздались своды горизонта,
шатнули вдаль крутой дугой,
а вести с фронта, вести с фронта
одна счастливее другой.
И каждый день Москва салютом
гремит: да ведают кругом,
что мы весной кончаем с лютым,
заклятым недругом-врагом.
Промчались годы горевые,
оставив только грозный след.
Весна! Такой весны Россия
не знала много, много лет.

1945 г.



Михаил Семенович Коростелев родился в 1925 году в г. Барнауле. После окончания средней школы ушел на фронт, был пулеметчиком, командиром отделения разведроты. После войны работал составителем поездов, сотрудником газеты в г. Новоалтайске. В настоящее время художник-оформитель.

Живет в Барнауле.

Повесть «Взрыв» — первая публикация.

Михаил КОРОСТЕЛЕВ

ВЗРЫВ

ПОВЕСТЬ

I

...Сознание медленно возвращалось к нему. Упорову казалось, что он всплывает из темной, тяжелой глубины, жадно рвется вверх, туда, где простор и свет, прилагает отчаянные усилия, помогая себе руками и ногами...

Все вокруг было исковеркано, перепахано минометным огнем, все носило следы только что прошедшего жестокого боя, все, что можно убить, здесь было убито и казалось непонятым, как остался жив этот оглушенный, полузасыпанный землей человек.

Упоров открыл глаза: над ним было небо, удивительно голубое, спокойное, ласковое небо, какое он видел разве что в детстве, лежа на горячем песке у реки. С трудом приподнялся, освобождая руки, туловище. Глаза постепенно привыкали к свету. Голова кружилась. Земля набилась в уши, под рубашку, скрипела на зубах.

Край окопа был разворочен взрывом. На сломанной ветке стоящего рядом с окопом куста сидела любопытная серенькая ничужка и, склонив голову, с интересом смотрела на человека.

Упоров высвободил из-под земли ноги, привалился спиной к стенке окопа, отдыхая, закрыл глаза, стараясь восстановить в памяти события сегодняшнего дня, понять, что произошло.

...Вот уже неделю карательный батальон преследовал партизан, не давая времени ни на сон, ни на отдых, и сегодня утром прижал их к болоту.

Это был конец. Все, в том числе и Упоров, понимали, что вырваться на этот раз не удастся: слишком неравны были силы. Утром же командир пересчитал людей, оружие. Результаты подсчета оказались неутешительными: измотанный в непрерывных боях отряд насчитывал двадцать восемь плохо вооруженных, голодных, еле державшихся на ногах бойцов. Патронов оказалось всего по несколько штук на человека; совсем не было пищи, воды, медикаментов; имелись раненые. Обоз и все хозяйство пришлось бросить еще несколько дней назад: думалось, что налегке удастся оторваться от преследования. Но оторваться не удалось.

Тщательно обдумав сложившееся положение, командир решил прорываться.

— С тактической точки зрения — это безумие, — говорил он. — Так же, очевидно, считают и немцы. И в том, что мы поступим, казалось бы, вопреки правилам и здравому смыслу, может быть, наш единственный шанс на спасение.

Прорыв командир наметил через час после принятия решения. Час этот нужен был для того, чтобы хоть немного отдохнуть, подготовиться к бою, договориться о месте сбора тех, кто, возможно, сумеет прорваться.

Надо сказать, что, окружив партизан, немцы не торопились с расправой. Им в последние дни тоже было нелегко. Однако медлительность их скорее всего можно было объяснить намерением подтянуть все свои силы. Командование немцев, по-видимому, считало, что партизаны теперь никуда не денутся, и давало своим солдатам возможность отдохнуть перед боем, прекрасно понимая, что время сейчас работает на них, что каждый новый час еще больше усугубляет и без того бедственное положение окруженных.

Именно это брал в расчет командир партизанского отряда, решив прорываться сейчас, не дав карателям собраться с силами, пока они не заткнули в кольце окружения каждую щель.

...Время близилось к полудню. Солнце уже жарко нагрело землю. Стояла непривычная, пугливая тишина, изредка нарушаемая одиночными выстрелами с той или другой стороны.

Командир готовил отряд к прорыву. Где ползком, где перебежками он пробирался от окопа к окопу, отдавая последние распоряжения, наказания...

Упорову он ничего не сказал. Тронув лишь ободряюще за плечо, поглядел через бруствер в сторону немецких окопов. Оба без слов понимали друг друга.

Когда командир ушел, Упоров с удивлением подумал, что этому мужественному, прошедшему, казалось, через все ужасы войны человеку, всего двадцать четыре года, что он сугубо гражданский человек и когда-то преподавал в школе ботанику.

Минут за десять до начала прорыва немцы начали минометный обстрел.

Упоров уже приготовился к сигналу прорыва, собрал все свое нехитрое имущество, когда перед окопом взметнулся черный сноповый взрыв... Горячая волна ударила его в лицо и грудь, оглушила, швырнула куда-то вниз...

...Он стал осторожно приподниматься, еще не веря, что остался жив. Нащупав осыпающийся край окопа, осторожно выглянул, хотя сейчас опасаться было как будто нечего. Даже если допустить мысль, что кто-то в эту минуту и наблюдал за полем недавнего боя, ничего подозрительного он бы все равно не увидел: на фоне изрытой, обожженной земли почерневшая от пыли, закопченная, замершая в неподвижности фигура Упорова ничем здесь не выделялась, и издали ее можно было принять и за выброшенную взрывом кучу порыжевшей земли, и за неровность почвы, и за ворох сгнившей прошлогодней листвы.

Низко над землей плыли рваные клочья дыма. Дым цеплялся за опаленные взрывами кусты, стелился над окопами и, казалось, не мог подняться выше: он был тяжелый, удушливый.

Недалеко, шагах в десяти, лежал труп. Упоров видел подошвы стоптанных сапог, топорщившийся на спине убитого вешевой мешок. Дальше, в стороне, виднелось еще несколько трупов. Там, впереди, где отчетливо просматривались немецкие окопы, было тихо, однако Упоров давно уже научился не доверять тишине: на войне это самая непостоянная штука. Та настоящая, довоенная, почти забытая тишина не имела с ней ничего общего.

Упоров прислушался: где-то в кустарнике у болота вскрикнула

птица, осыпалась в окопе земля, звякнула под сапогом стреляная гильза...

Никого.

Мысль, что он остался совсем один, обожгла Упорова.

«Где отряд? Что с ним? Прорвался или все полегли?»

Между тем солнце клонилось к горизонту. Значит, со времени прорыва прошло самое малое три-четыре часа. За это время прорвавшиеся ушли далеко.

Упоров осмотрелся вокруг в надежде разыскать свой пулемет. Пулемета нигде не было — наверное, отбросило взрывом. Значит, искать его нет смысла — оружие все равно повреждено.

«Да если бы пулемет и остался цел, немцы бы подобрали его. Они, конечно, уже все тут прочесали».

«Это случайность, что я жив. Заглянув в окоп, они приняли меня за мертвого».

Теперь у Упорова не было никакого оружия, и, тревожно озираясь по сторонам, он подумал, что взять его сейчас сможет даже какой-нибудь захудалый немецкий обозник. В окопе, в земляной нише, были у него еще граната и небольшой запас патронов, но сейчас, после взрыва, ничего тут не осталось. Прекрасно зная цену оружия и неожиданно лишившись его, он пережил мгновенное чувство растерянности и даже страха. Однако быстро одернул себя.

Упорова мучила жажда, он был голоден, утомлен, но больше всего сказывалось отсутствие курева. Казалось, покури он сейчас, и сразу стало бы легче, и голова перестала бы болеть. Но последние крошки табака были искурены еще несколько дней назад. Многие тогда принялись за сухой мох, листву. Упоров считал, что лучше уж совсем не курить, чем обманывать себя.

Время шло. Солнце уже почти касалось края далекого горизонта. Сзади над болотом в чахлам мелколесье сгущались тени. Ненужные теперь окопы казались ранами на поверхности земли. Обезображенный взрывами мин кочковатый низкий берег сейчас, к вечеру, дышал сыростью особенно остро.

Метрах в трехстах впереди бросовая сырая низина кончалась и еще дальше за грунтовой дорогой переходила в кукурузное поле, по краю которого виднелись отрытые немцами окопы. Справа от болота, почти к самым окопам, выдавалась редкая рошица, и дорога, огибая ее, скрывалась за деревьями. Именно там, за рощицей, что-то сейчас горело, и вот с этой-то стороны больше всего следовало ожидать опасность. Если впереди и слева кукурузное поле и петляющая по нему дорога просматривались до самого горизонта, то правая сторона для обзора была закрыта деревьями. Но сейчас опасности вроде бы не было: все ушли — и немцы, и свои. Там, у окопов, что-то выскивая, спокойно ходили птицы. Дорога и поле были пустынные.

Упоров выбрался наверх и, пригибаясь, продолжая не верить тишине, осторожно направился к трупу. Еще на полпути до того места, где пуля сразила человека, узнал Комарика.

Комарик лежал, чуть завалившись на левый бок, выбросив в сторону правую руку. Знакомая всему отряду серая каракулевая кубанка его откатилась под куст.

Фамилия убитого была Комаров, но за веселый характер, за шутки, за постоянную улыбчивость все в отряде звали его Комариком.

«Расскажи что-нибудь, Комарик», «Развесели, Комарик, душу», «Спой что-нибудь, Комарик», — обычно просили его.

Даже в самые, казалось бы, гибельные дни рядом с этим неунывающим человеком было легче.

«Понимаешь, дивчина у меня дома осталась, — как-то в порыве откровенности сказал он Упорову. — Как закончим войну — женюсь».

...Упоров опустил на колени, осторожно повернул труп на спину:

лицо Комарика было залито кровью, пуля угодила в голову, чуть выше левого глаза. Кровь на ране уже успела засохнуть.

«Вот и женился... Ах, Комарик, Комарик»:

Помедлив, отстегнул нож с пояса погибшего.

«Прости, брат. Тебе он уже ни к чему».

Подняв с земли щуплое, по-мальчишески легкое тело, Упоров донес его до окопа, опустил вниз. Затем сходил за кубанкой, положил ее на грудь погибшего.

«Вот и все. А я ведь даже и адреса твоего домашнего не знаю».

Упоров принялся засыпать могилу. Вдруг краем уха уловил нечто похожее на стрекотание кузнечика. Он резко обернулся и увидел далеко на дороге облачко пыли.

Опустившись в окоп и прячась за пожухлыми ветками бурьяна, теперь уже пристальнее всмотрелся в дорогу. У Упорова было хорошее зрение, и он сразу определил, что приближается мотоцикл с коляской и в нем — два человека.

Не было никакого сомнения, что едут немцы.

«Куда их черт несет!»

Тем временем мотоцикл был уже совсем недалеко. Немцев действительно было двое. Оба в касках. Тот, что в коляске, — с пулеметом.

Упорову было хорошо видно, что пулеметчик, повернув голову, смотрит в сторону болота и даже махнул в этом направлении рукой. Скорее всего он что-то говорил своему напарнику, потому что тот тоже повернул голову, и у Упорова вдруг мелькнула челепая мысль: уж не увидели ли его немцы?

Подпрыгивая на неровностях, мотоцикл приближался. Вот он уже совсем рядом, вот поравнялся с болотом... Меньше чем через минуту он достигнет переднего края роши и скроется за ней.

Так оно и вышло.

Выждав еще некоторое время, Упоров снова принялся засыпать окоп, в который уложил тело Комарика. Насыпав над могилой холмик, вытер рукавом вспотевший лоб, отянувшись в сторону садившегося за горизонт солнца, быстро темнело.

...Два следующих трупа лежали рядом. Имен этих погибших ребят Упоров не знал — в отряде они были новички. Оба из одного села, обоих немцы пытались отправить на работу в Германию, оба бежали с поезда...

Похоронил их Упоров вместе.

Потом пошел дальше вдоль окопов и здесь, у самого правого фланга, почти у воды, увидел труп Зои. Склонившись над телом, Упоров понял, как тяжело, как трудно пришлось Зое умирать: осколком мины ей разворотило живот. И Зоя лежала, прикрыв руками свою страшную рану.

Он отнес ее в ближайший ровик, положил. Подумал, снял с себя пиджачишко и накрыл им Зою. Лишь потом начал засыпать ее землей, потрясенный до глубины души, уже не в силах сдерживать слез.

Упоров с полным правом мог причислить себя к старым, много видавшим солдатам. За войну он успел насмотреться всякого и уж ничему не удивлялся, однако смерть женщины его всякий раз потрясала, как что-то чудовищное, немислимое, противное самой человеческой природе.

Зоя находилась в отряде вместе со своим мужем, тихим, застенчивым человеком, который, придя к партизанам, откровенно признался, что стрелять не умеет и что за всю свою жизнь он и мухи не убил... Кто-то из партизан засмеялся и сказал: «Гляди, какое совпадение: мне до войны тоже не приходилось убивать!..»

Месяц назад он ушел с заданием в одну из деревень и при облаве был схвачен немцами.

О том, что началась война, Упоров узнал в дороге. Он ехал к матери в Омск, чтобы взять ее к себе. Мать уже давно жила одна, как управлялась с домом, но последнее время начала прихварывать. Хозяйство стало ей в тягость. И вот страшная весть настигла его в пути, ударила как обухом: война.

Упоров дождался ближайшей станции и вышел из вагона. В тот же день удачно попал на московский поезд. Ехал, а в голове, как заноза, сидела мысль: что с семьей? Он страшился подумать, что там, в Гродно, где остались жена и семилетняя Наташка, сейчас на улицах рвутся снаряды, умирают люди, клял себя за то, что в такую трудную пору ничем не в силах был им помочь, хотя вины его тут не было.

В Москве при пересадке потерял больше суток. В передаваемых сводках Совинформбюро сообщалось, что на гродненском направлении идут тяжелые бои. Сообщалось о боях и на других направлениях, но внимание Упорова было приковано к Гродно.

Поезд, с которым выехал из Москвы, подолгу простаивал. То кого-то пропускали, то ждали, пока отремонтируют разрушенный при бомбежке путь...

До фронта было еще далеко, но дыхание его чувствовалось все ошутимее.

На маленькой станции перед Оршей поезд стал окончательно: где-то впереди дорогу перерезали немецкие танки. Вслед за другими пассажирами Упоров направился к шоссе. Тут, в небольшом леске, увидел военных. Это были командиры. Они стояли под деревьями возле грузовиков и что-то обсуждали. Невдалеке красноармейцы рыли окопы.

От группы военных к нему быстро подошел молоденький лейтенант.

— Кто такой?

Упоров достал из кармана и молча подал ему свои документы.

— Куда направляетесь?

Выслушав ответ, лейтенант удивился:

— Какое Гродно! Вы что? Немец же вон за лесом. И вообще, не лезьте под огонь. Пуля не разбирает, кто военный, а кто гражданский.

Упорову ничего не оставалось, кроме как отойти в сторону подальше от огневых позиций. На опушке леса, у моста, он увидел тропку. Спустился вниз к речке. Напился. Потом сел и стал обдумывать свое положение. Картина выходила никудышная, хотя мысли о гибели своей в этой только что начавшейся войне он и не допускал. Ему лишь недавно исполнилось двадцать семь лет, и мысль о смерти казалась нелепой, невозможной. В июле он намеревался перевезти домой мать, планировал сделать пристройку к дому. Собирался поступить в институт, чтобы получить высшее учительское образование. А учителем в младших классах он работал уже третий год... Кроме того, давно хотелось съездить с женой в Крым; он еще никогда не видел моря.

И вот все рухнуло. Словно и не было ничего — ни мира, ни семьи, ни работы.

Вдалеке, в лесу, послышался разрыв снаряда. За ним последовал другой, третий... Вскоре все потонуло в немыслимом грохоте. Несколько снарядов упало здесь, на опушке леса, недалеко от воды, заставив Упорова прижаться к тяжело вздрогнувшей земле. Упоров не знал, что земля может вот так вздрагивать, словно живое существо, которому сделали больно, и вдруг остро почувствовал свое одиночество, свою незащищенность.

Едва обстрел стих, он подхватил свои вещи и заторопился к тем военным, которых видел у грузовиков.

В лесу после артиллерийского налета тут и там зияли воронки, валялись обломанные взрывами ветки деревьев.

В спешке Упоров ломился напрямик через кусты, а когда почти выбрался на прогалину, откуда до автомашин и окопов оставалось совсем немного, вдруг замер: там впереди были немцы. То, что это немцы, он понял сразу, хотя никогда их раньше не видел. Они цепью пересекали дорогу и углублялись в лес по эту ее сторону. Несколько солдат прошли совсем недалеко от затаившегося в кустах Упорова.

Уже поздно вечером он обшарил все вокруг, но никого своих не встретил. Наткнулся на брошенное, перевернутое взрывом орудие, на сгоревший грузовик...

Ночь провел, устроившись в густом кустарнике. Уснуть не мог. Так и лежал до рассвета, прислушиваясь к грохотавшему вдалеке ночному бою. А утром, едва взошло солнце, на дороге появилась колонна немецких автомашин, лишний раз напомнив Упорову, что надо что-то делать. Вскоре здесь же в лесу он встретил двух красноармейцев.

— Подойди сюда! — крикнул один из них.

Радуюсь такой приятной неожиданности, Упоров приблизился и рядом с бойцами увидел лежащего под деревом лейтенанта, который вчера проверял у него документы. Лейтенант тоже узнал его, улыбнулся. Он был ранен в плечо, видно, много потерял крови, но держался бодро.

— А, старый знакомый... Не передумал идти в Гродно?

Упоров безнадежно махнул рукой.

— А мне вот не повезло, — пожаловался лейтенант. — Ранило. Очухался ночью — никого. Хорошо, что вот бойцы из саперного батальона сегодня повстречались. — Он кивнул на красноармейцев. — А вообще-то тут сейчас по лесам много наших бродит.

— Что же теперь будет? — не удержался Упоров. Вопрос его в равной мере относился как к дальнейшей судьбе лейтенанта и бойцов, так и его собственной.

Лейтенант поморщился, осторожно погладил раненое плечо, словно пытался успокоить боль.

— Какие планы у тебя — не знаю. А наше дело — бить врага. Сейчас это самое главное.

...С тех пор прошло больше года. Срок как будто невелик, если считать по мирному времени, но Упорову, в сущности, еще молодому человеку, казалось, что за плечами у него бесконечно долгая и трудная жизнь, что увиденного, пережитого и узнанного им за это время хватило бы на несколько человеческих судеб.

Там, под Оршей, когда немцы перерезали дорогу, он умышленно не захотел уходить с другими беженцами на восток. Думал о доме, тайне надеясь, что доберется туда. Но...

Встреча с раненым лейтенантом и красноармейцами все круто переменяла.

III

В сумерках Упоров вышел на дорогу, к тому месту, где недавно проехали мотоциклисты, и сразу увидел дымившийся у роши бронетранспортер. По-видимому, он был подожжен партизанами сегодня при прорыве и теперь стоял здесь, медленно догорая.

Над низиной и болотом белела тонкая пелена тумана. Упоров пожегся: лето кончалось, ночами становилось прохладно.

От голода в желудке стояла тупая боль. Выломав несколько початков кукурузы, с жадностью начал обгрызать их. Подумал, что неплохо бы забраться куда-нибудь и хоть немного отдохнуть, но отогнал эту мысль — ему нужно было оружие. Он не мыслил себя безоружным, и если сегодня, выкарабкавшись из окопа, где его завалило взрывом, как-то мог оправдать свое незавидное положение, свое вынужденное бездействие, то уже завтра такого оправдания себе не обещал.

Он знал, что дорога, по которой уехали мотоциклисты, приведет его в большое село Камышино, что до него не очень далеко. Трудно сказать, там ли сегодня расположился на ночлег карательный отряд, но Упоров надеялся, что если не каратели, то хоть какая-нибудь санитарная или хозяйственная часть немцев все-таки размещается в Камышине, и что задуманная им на сегодняшнюю ночь операция удастся. Конечно, сейчас он понятия не имел, как будут развиваться события, с чем ему придется столкнуться в Камышине, но такое начало его не очень беспокоило. Из опыта он знал, как ни планируй дело, а неожиданности неизбежны, и самое лучшее — не заглядывать наперед, а действовать сообразно обстановке, полагаясь на собственную сообразительность и ловкость.

Дорога, по которой он сейчас шагал, пожалуй, не имела для немцев большого значения, и они ею практически не пользовались. Только этим можно объяснить тот факт, что за весь вечер здесь проехали лишь два мотоциклиста.

В селе стояла тишина, хотя время было еще не позднее; ни собачьего лая, ни людских голосов. В темном небе чисто и ясно мерцали далекие звезды. Луна еще не выбралась из-за подступивших к огородам сосен, и Упоров про себя отметил, что это хорошо. Пока луна поднимается над лесом — пройдет не менее часа, а за час многое можно сделать.

Выйдя к изгороди ближайшего дома, не задержался здесь и двинулся дальше, по-прежнему прячась в тени деревьев. Так же не задержался и у второго, и у третьего домов. Наметанным глазом он сразу определил, что на постое тут никого нет: избышки были старые, кособокие, с открытыми на все четыре стороны дворами. Для ночлега, тем более для размещения какой-либо тыловой службы, немец постарается найти просторный, уютный дом с хорошим закрытым двором и хозяйственными постройками, где можно было бы разместить воинское имущество. Камышино — глубокий тыл, и немец, чувствуя себя здесь хозяином, не будет сидеть в темноте. Значит, в доме должен гореть свет, должны слышаться голоса.

Потом он пропустил еще несколько домов — пять или шесть, — «бракуя» их по разным соображениям. Правда, один из них привлек внимание Упорова тем, что из ограды доносился громкий разговор, но, прислушавшись, разобрал, что говорят по-русски, и направился дальше.

Конечно, можно было поступить проще: зайти к кому-нибудь и спросить, где расположились немецкие солдаты. Но Упоров хотел свести риск к минимуму, справедливо считая, что иметь свидетелей в таком деле незачем.

Нужный ему дом он разыскал уже в самом конце села. Еще издали уловив пиликание губной гармошки, на минуту замер, потом двинулся дальше в том направлении, откуда доносилась игра. Луна пока не выбралась из-за деревьев, зады огородов лежали в глубокой тени вплотную подступивших к ним сосен. Следовательно, времени прошло пока немного, и Упоров был доволен собой.

Пробравшись к изгороди того дома, где звучала губная гармошка, затаил дыхание, вслушиваясь и вглядываясь. Надо было определить, есть ли в доме немцы. На гармошке мог играть и хозяин, и дети, и вообще кто угодно. Однако, даже издали разглядывая дом, утвердился в мысли, что на этот раз не ошибся — здесь действительно расположились на ночлег немецкие солдаты.

Дом был большой, ярко освещенный. В незашторенные окна Упоров хорошо видел, что в комнатах много людей. Из трубы шел дым, в воздухе носился запах паленой щетины, жареного мяса. Из ограды долетали звуки ударов металла о металл.

Подобравшись к самой изгороди, различил в тени дома контуры

грузовой автомашины, стоящего рядом с ней мотоцикла с коляской, еще чего-то громоздкого, напоминающего штабеля ящиков.

Помедлив еще в тени дерева, перемахнул через изгородь, нырнул в чашу картофельной ботвы. Начиналась самая ответственная часть задуманного им плана. Он видел, что немцы спокойны, и старался воспользоваться моментом — подобраться поближе, пока в доме не улеглись спать и не взошла луна. Сейчас часовой не так внимателен, а когда все уснут и он останется один, будет прислушиваться к каждому шороху, и тогда подобраться к нему гораздо труднее.

Метрах в десяти от машины Упоров затаился, затаился. Теперь нужно было осмотреться, сориентироваться, подумать, что делать дальше. Он лежал, не поднимая головы, стараясь успокоить дыхание, заставить себя думать хладнокровно, трезво.

Голоса немцев слышались совсем рядом. Постепенно Упоров стал различать, что разговаривают двое. Видимо, они стояли или сидели у машины. Тот, что пиликал на гармошке, скорее всего сидел на крыльце.

Он осторожно выглянул из-за ботвы и... похолодел: с кузова автомашины на него смотрел тощий, как жердь, немец. В падающем из окон ярком свете Упоров отчетливо видел худое горбоносое лицо солдата, длинные растрепанные волосы и остановившиеся от страха глаза. Одной рукой немец придерживался за кабину автомашины, другой что-то шарил в кармане кителя.

«Сейчас он должен закричать. Если я побегу по огороду к лесу — срежет из автомата. Но в руках у него нет автомата. Значит, пока он его отыщет или позовет часового, пройдет какое-то время, и я успею перемахнуть в соседний огород. Тогда, хотя бы на первых порах, стрелять они будут вслепую».

Все это промелькнуло в голове в доли секунды.

Дрогнул сейчас Упоров, пошевелился, струсил — и действительно все бы для него было кончено. Слишком близко он находился от врагов и не было у него в руках ни гранаты, чтобы успеть оглушить их, никакого другого оружия. Но то ли немец не поверил своим глазам, то ли смотрел не в огород, где спрятался Упоров, а на темнеющий вдаль лес, только он вдруг что-то произнес, указав пальцем за дом, и рассмеялся.

«Ф-фу! Он же стоял в свете от окон. Значит, глядя в темноту, ни черта не видел. Как это я сразу не сообразил?»

Упоров долго отдыхал от нервной встряски, постепенно успокаиваясь, приходя в себя, досадуя на свою несообразительность. Сейчас ему как никогда надо было собраться с силами, которых у него оставалось не так уж много. И ждать. Сколько именно ждать, он не знал, но предполагал, что долго.

Тем временем немец с губной гармошкой оставил свое занятие и отправился в дом. Двое у автомашины еще продолжали о чем-то говорить, но в конце концов и они собрались уходить. Тот, что стоял в кузове машины, уходить пока не собирался. Склонившись над ящиками и мешками, что-то делал. Затем, развернув брезент, принялся укрывать свое имущество.

Все эти немцы Упорову были не нужны, и он терпеливо ждал, когда они разойдутся, чтобы остаться один на один с часовым.

Но спать в доме еще не ложились. В окно было видно, что за столом сидело несколько человек, занятых не то ужином, не то игрой в карты. Время от времени хлопала входная дверь, слышались топот ног, какое-то звяканье, кашель...

Упоров терпеливо ждал. Тело заныло от неподвижности, и он торопил время, которое, как обычно в таких случаях, тянулось очень медленно.

Но вот движение и голоса начали постепенно стихать, а еще спустя какое-то время погас свет. Уже в темноте кто-то еще ходил по огра-

де, видимо, что-то разыскивая, но вот и он протопал сапогами по крыльцу, хлопнул дверью...

Наступила тишина. Упоров, осторожно раздвинув картофельные кусты, оглядел ограду — часового нигде не было видно. На какое-то время он даже растерялся и вдруг понял, что тот, должно быть, стоит у ворот в переулке. Такое обстоятельство усложняло задачу. Чтобы выполнить ее, нужно было пересечь ограду, открыть калитку и ухитриться зайти солдату в тыл. Путь был сложный и явно негодный. Проходя по ограде, он мог на кого-нибудь наткнуться, могла заскрипеть калитка... Кроме того, подбираясь к немцу, он не видел того. Вполне могло случиться, что в воротах они столкнулись бы нос к носу.

Догадка, что часовой ходит перед воротами со стороны проулка, оказалась верной. Вскоре он услышал равномерные, неторопливые шаги, легкое покашливание. Неожиданно послышался скрип калитки. Упоров замер, прислушиваясь, моля бога, чтобы это был часовой.

Войдя в ограду, немец постоял у машины, ошупывая настороженными глазами пустынное пространство за домом, медленно прошел до сарая и вернулся к машине.

Упоров облегченно вздохнул, будто гора с плеч: вот здесь, на этой дорожке, он и должен взять часового.

Луна уже успела выбраться из-за леса и ярко заливала землю неживым призрачным светом. Из своего укрытия Упоров отчетливо видел фигуру часового. Он стоял к нему боком, метрах в десяти. Глубокая квадратная каска почти наполовину закрывала его лицо, так что виднелся лишь подбородок. Холодно отсвечивал металл висящего на груди автомата.

Не увидев здесь ничего подозрительного, немец направился к калитке, и через минуту со стороны проулка снова послышались его равномерные шаги.

Упоров вскочил, перепрыгнул через посадки помидоров и притаился за углом сарая. Мысленно представил путь часового: через несколько минут он должен снова войти во двор, прошагать по дорожке до угла сарая и повернуться, чтобы идти обратно.

Наконец солдат снова вошел во двор. Упоров не видел его, но по звуку шагов отчетливо представлял, как тот, ничего не подозревая, неторопливо приблизился к машине, ненадолго остановился, глядя в сторону огородов и темневшего вдали леса, прислушался... И в этот момент входная дверь хлопнула, на крыльце раздались торопливые шаги.

Упоров прижался спиной к стене сарая. Луна светила ярко. Спрятаться было некуда. Не было даже тени, куда можно было бы отступить, и ничего не оставалось, как надеяться, что все как-нибудь обойдется.

«Возможно, тому, кто вышел из дому, не спится, и он решил покурить, подышать свежим воздухом. Может, он должен сменить часового или проверить, как тот несет службу?» — вихрем пронеслось в сознании. Положение складывалось незавидное. Мало-мальскую надежду вселяло лишь то, что со стороны ограды Упоров не был виден. Чтобы заметить его, нужно было пройти в огород и обогнуть сарай. Причин же, которые понудили бы вдруг вышедшего из дому немца бродить ночью по огороду и тем более заглядывать за сарай, Упоров не видел. Часовой о чем-то спросил вышедшего товарища и рассмеялся. Упоров хорошо слышал, как человек в кованых сапогах поспешно пересекает ограду, и вдруг отчетливо осознал, что шаги эти с каждым мгновением приближаются. Немец почти бежал в его сторону. Задуманное и так тщательно, казалось бы, подготовленное дело проваливалось из-за непредвиденной, нелепой случайности.

Конец был стремительным и коротким. Когда, по-видимому, страдающий животом солдат сунулся за угол сарая, буквально наткнувшись на прятавшегося там Упорова, тот ударил его ножом и, рванув левой

рукой к себе, подмял, зажал рот. Часовой сразу заподозрил неладное и что-то спросил встревоженным голосом. Бросив немца, Упоров метнулся к забору, перемахнул в соседний огород. Теперь надежда была только на ноги. Но не пробежал он и двадцати шагов, как автоматная очередь стеганула за спиной. Раздались крики, топот ног. В небо взлетела ракета, ярко осветив огороды и близкий к ним лес.

К счастью, забор, под защитой которого бежал Упоров, был высокий, добротный, часовой не видел беглеца, и стрельба была неприцельной. За первой ракетой в небо взлетела другая, третья... По переулку бежали солдаты, стараясь отрезать Упорову дорогу к лесу. Из огорады его, вероятно, уже увидели; огонь стал плотным, и вели его уже два или три автоматчика.

Несколько раз Упоров обо что-то запинался, падал. Он думал лишь о том, чтобы успеть добежать до края огорода, пока дорогу не перерезали. За изгородью — лес, а лес для него был сейчас единственным спасением. Ночью немцы в него не сунутся. Завтра днем прочешут вдоль и поперек, но сейчас идти не решатся.

Огород наконец кончился. Упоров перескочил забор, и в этот момент ночь осветилась сразу несколькими ракетами. Упав за изгородью, чтобы переждать свет, он увидел, как, подминая сапогами кусты картофеля и не переставая на ходу стрелять, за ним по огороду бежали два солдата.

Упоров вскочил, бросился к спасительным деревьям. Теперь по нему стреляли и сзади, и со стороны переулка. Огненные трассы чертили темноту вдоль и поперек. Те, что бежали по переулку, еще не успели отрезать ему дорогу к лесу. Пока они добегут, пройдет полторы-две минуты. Надо было опередить солдат.

Упоров уже добежал до первых деревьев, даже метров на несколько углубился в лес, когда в левую руку что-то ударило. Прислонившись спиной к дереву, дал себе несколько секунд передышки и, не обращая внимания на боль в руке, бросился дальше, уже понимая, что ранен, надеясь, что еще сможет уйти.

Он долго еще бежал, спотыкаясь о корни деревьев, продираясь через кусты, пока, совсем обессилев, не рухнул на землю. Когда дыхание немного восстановилось, приподнял голову, огляделся: погони не было слышно. За оставшимся позади лесом взлетали в темное небо осветительные ракеты.

Упоров сел, ошупал раненую руку, подвигал ею: кость была цела. Тогда он разделся, разорвав майку, как мог перевязал рану, оторвал от рубашки и выбросил намокший в крови рукав. Рубашку пришлось надеть на голое тело. Потом поднялся и, шатаясь от усталости, направился к видневшимся впереди стогам сена.

IV

Перед рассветом кто-то постучал в окно. Негромко, осторожно. Прошка вскочил с кровати, испуганно замер, не зная, что делать. Жена Клава ничего не слышала и, посапывая носом, лежала, отвернувшись лицом к стене. Она всегда спала крепко, разбудить ее стоило трудов.

Стук повторился. Прошка совсем заробел и, стоя у стены рядом с окном, переминался с ноги на ногу, придерживая рукой сползающие кальсоны.

«Кого черт таскает? — подумал он. — Однако точно, что не немцы и не полицаи. Те давно бы уже снесли дверь, пока я чухаюсь».

— Чего надо? — собираясь с духом, спросил Прошка, приблизив лицо к оконному стеклу и пытаясь что-нибудь рассмотреть на улице.

Жил он небогато, грабителям в его доме делать нечего, однако же по первому стуку открывать дверь незнакомому человеку было боязно.

«Оно, может, и не грабители, — размышлял он, — но и не друзья».

товарищи. Кто знает, что у них на уме. Ночь на дворе глухая, да и само время нынче темное, глухое. Люди верить друг другу перестали. Днем и то опасно из дому выходить, а уж ночью — говорить нечего».

— Ты открывай, не бойся, — негромко сказали за окном.

Сейчас говоривший не прятался, и Прошка увидел рядом со стеной своего дома неясную фигуру незваного гостя.

— Чего надо-то? — снова спросил он внезапно охрипшим от волнения голосом.

Незнакомец приник к окну и, явно стараясь говорить тише, но так, чтобы хозяин его все-таки услышал, пояснил:

— Раненый у нас, не тяни время.

«Уж не партизаны ли? — подумал Прошка. — Похоже, так и есть. Хворостов сказывал, вчера у болота их здорово покروшили. Мало кто ушел. Может, из них кто?»

Шлепая босыми ногами, направился в сени, нащупал засов, неуверенно выдвинул его, открыл дверь.

...Двое стояли в ограде, прячась в тени у стены дома. Даже сейчас, ночью, было видно, что одежда на них до крайности потрепана, а сами — страшно устали.

Прошка ожидал, что незнакомцы пройдут в дом, но те не двигались с места.

— Выдь сюда, — позвал один из них, тот, что стоял ближе. Другой ночной гость держался позади и в разговор не вступал.

Прошка неуверенно ступил через порог, вышел во двор.

— Немцы в селе есть? — спросил неизвестный. Он был бородат и широк в плечах.

— Ну есть, — настороженно ответил Прошка.

Ночные пришельцы о чем-то посоветовались. Затем бородач повернулся к Прошке:

— Кто в доме, кроме тебя?

— Клавка. Жена.

— Еще кто?

— Больше никого.

— Надо укрыть раненого, — сказал бородач после небольшой паузы. — На несколько дней.

Прошка поскреб в затылке. Уж он-то хорошо знал, что это такое — спрятать у себя в доме раненого партизана. Пронюхай об этом немцы, и будет Прошка завтра же болтаться на перекладине с фанеркой на груди. Да и Хворостов, если узнает, не помилует, хоть и родственником приходится. С тех пор, как поступил в полицию, совсем озверел.

— Ранение очень тяжелое, — продолжал говорить бородач. — Пропадет человек, если мы его потащим сейчас за собой. Лежать ему надо. Да и на дворе уже скоро день. Куда мы сейчас с ним...

— Опасно, — сказал Прошка. — Жить-то нынче приходится с оглядкой. Беду можно с любой стороны дожидаться.

Незнакомец приблизился к Прошке, склонился над ним, заглядывая в лицо.

— Завтра ночью или самое позднее послезавтра мы его заберем. За это время найдем подходящее место.

— Прямо не знаю, — нерешительно тянул Прошка. — Некуда мне его. Домишко маленький, соседи днем бывают...

— А в дом и не нужно, — сказал бородач. — Поместим в бане. Баня очень удобная. Почти вся в землю врыта и в стороне от улицы. Ребятишек у тебя нет, ну а постороннему человеку днем ходить по твоему огороду вроде и незачем.

— Так-то оно так... — продолжал тянуть Прошка.

— Значит, договорились? — напирал бородач.

— Ну ладно, — сдался на всякий случай Прошка. — Разве что на день-два...

И вслед за партизанами прошел по огороду до бани и тут увидел еще одного незнакомца, прятавшегося у изгороди. Бородач что-то сказал ему. Он кивнул, подошел к Прошке.

— Ну спасибо тебе. — Указал в сторону бани. — Мы его тут уж положили. Присматривай. Воды принесешь или еще что...

Он подал знак, и все трое бесшумно двинулись в ночь.

Через минуту они исчезли, и Прошка остался наедине со своими невеселыми думами.

«Конечно, партизаны — люди не чужие, не то что немцы, и неудобно отказывать им в помощи, но, однако же, надо понять и то, что попадись я в руки Хворостова — никакие партизаны не помогут. Да и какая у них сила? Вчера у болота, считай, весь отряд полег. И черт его знает, как оно теперь все пойдет. Конечно, жизнь под немцем — не мед. Это факт. А что делать?»

Голова у Прошки шла кругом. Вернувшись в дом, он посидел у печки, покурил, подумал, но ничего придумать не мог. Спать уже не хотелось, а мысль о том, что на его огороде в бане сейчас находится раненый партизан, с каждой минутой становилась переносимой.

«Хорошо, если завтра, как обещали, заберут его, а если нет? Если их к тому времени самих переловят? Как тогда? Что он с этим раненым будет делать? А если сегодня же кого-нибудь из соседей черт занесет на огород или в баню?»

От таких мыслей Прошку бросало то в жар, то в холод.

«А может, пойти к Хворостову и рассказать обо всем? Все равно от немцев теперь не отделаешься...»

Однако решиться на такое Прошке что-то мешало. Служить немцам он не собиравался, хотя Хворостов много раз звал его в полицию. Хвастался обмундированием, оружием. Не по душе Прошке была такая работа. Он достаточно рассмотрелся и на немцев, и на полицаев и видел, чем они занимаются. На площади в центре села лишь недавно убрали виселицы и похоронили учителя Зырянова и двух местных ребят — совсем еще мальчишек. Хворостов хвалился, что выследили и поймали их полицейские, и что сам он вел следствие.

— Следствие... Зачем мне следствие? — говорил Прошка, настороженно и недружелюбно поглядывая на Хворостова. — Я человек мирный. Не могу я так, как там у вас...

— Христосиком прикидываешься? — кривил губы родственник. — Руки не хочешь пачкать? Ничего не выйдет. Сейчас в войну человек проверяется просто: с нами — друг, не с нами — враг. И точка. И никаких разговоров. А ты все посередке, словно дерьмо в проруби болтаешься. Ни нашим, ни вашим.

— Не могу, — стоял на своем Прошка. — Не способен я к умственной работе. Какой из меня следовательно?..

— Смотри, не прогадай, — предостерегал Хворостов. — Как бы потом жалеть не пришлось.

На улице уже брезжил рассвет, а Прошка так ничего путного и не придумал, так и не решил, что делать, как получше и поскорее избавиться от неожиданного постояльца. Клава все спала, и Прошка завидовал ей, что та ничего не знает и не мучается, как он.

Накурявшись до тошноты, он еще посидел, нехотя обулся, и вдруг словно в бок его кто толкнул: вспомнил, как весной в Волчьей балке наткнулся на землянку. Сделана она была добротнo и замаскирована так, что можно было пройти рядом и не догадаться о ее существовании. Обнаружил ее Прошка случайно. Ходил зачем-то в балку, сел отдохнуть и его сморил сон. Проснулся, стал шарить завалившуюся в кусты фуражку и увидел вход в землянку. Место было глухое, все вокруг заросло бурьяном. Правда, во время дождей балку заливало водой, но землянка была так врыта в склон, что вода до нее не доставала.

От неожиданно пришедшего в голову простого и ясного решения

вопроса у Прошки часто забилося сердце. Нетерпеливо вскочив с лавки, он заходил по комнате.

Если бы вспомнить о землянке раньше, когда партизаны были еще здесь! Теперь бы голова не болела. Вот бы где этому раненому было самое подходящее место. Из села туда обычно никто не ходит — незачем. И как-то так повелось, что взрослые, когда надо бывает унять непослушных ребятишек, всегда пугают их Волчьей балкой.

«Раненому какая разница, где лежать, а для меня — большое дело. Найди они его сейчас в бане — отжил Прошка. Ну а если Хвостов пронюхает про ту землянку и найдет раненого там — мое дело сторона. Мало ли кто где прячется».

Во рту и без того было горько, но от волнения Прошка принялся сворачивать новую папиросу. Желание как можно скорее переправить постояльца в Волчью балку и таким образом избавиться от висевшей над головой опасности прямо-таки захлестывало его. Он бы даже сегодня попытался осуществить свой замысел, но на дворе начинался рассвет, небо на востоке уже заметно посветлело. Счастливая возможность была упущена, и Прошка злился на себя за то, что дельные мысли приходят к нему всегда с большим опозданием.

«Радуюсь, дурак, а вдруг той землянки и в помине нет, — остановила его тревожная мысль. — Может, завалилась или немцы про нее пронюхали и держат под прицелом?»

Прошка лихорадочно заметался по комнате, разыскивая пиджак, фуражку и уже минут через пять торопливо шагал прочь от дома. Дойдя до ближайшего проулка, свернул в него и вскоре очутился на пустыре за селом. Путь этот намного длиннее, чем обычный, по главной дороге, зато безопаснее — меньше любопытных глаз.

Добравшись до лесу, оглянулся — село еще спало. Лишь из двух или трех труб лениво вился дымок. На востоке небо было розовым, а на западной, еще темной стороне, мерцали звезды. Но Прошке было не до звезд, не до розового неба. Он был захвачен предстоящим делом, а оглядывался лишь из предосторожности — не хотелось, чтобы кто-нибудь увидел его в такую рань за селом. Может возникнуть подозрение: куда, зачем пошел?

Торопясь скорее добраться до места, он широко шагал напрямик, без дороги, приминая сапогами росную траву, хрустя попадающимися под ноги сухими ветками.

Вскоре лес кончился и взгляду открылись луга. Если пересечь луга, затем перебрести небольшую речку Сороку и подняться на ее противоположный крутой глинистый берег, сплошь заросший непролазным кустарником, затем пройти еще с полкилометра, то можно было попасть в узкую ложину, которую в селе называли Волчьей балкой.

В прошлом году, когда Красная Армия отступала, на лугах был бой. Позже Прошка наткнулся здесь на окопчик, в котором лежали два убитых красноармейца. На другой день он пришел сюда с лопатой, чтобы похоронить убитых, и увидел на поясе одного из бойцов желтую кожаную кобуру. Ремень тоже был новый, добротный, и у Прошки не поднялась рука губить такое добро. Сняв с убитого ремень, он отстегнул и кобуру — в ней оказался темный вороненый револьвер с семью патронами.

Прошка зарыл красноармейцев, ремень сразу же приспособил себе, а револьвер завернул в промасленную тряпку и спрятал в дупло старой сосны за селом.

«Пусть лежит, может, когда пригодится».

Прошка благополучно пересек луга, перебрел речку, которая к концу лета совсем мелела, взобрался по сыпучему обрывистому берегу наверх. Прежде чем углубиться в кустарник, подобрал попавшую под руку увесистую палку. Затем двинулся дальше, стараясь ступать как можно осторожнее и меньше производить шуму. Он хорошо помнил то

место, где находилась землянка, но со страху, который внезапно охватил его в этом диком месте, долго путался, прежде чем отыскал знакомую поляну, рядом с которой, как он помнил, лежало поваленное, давно сгнившее дерево. Из предосторожности Прошка долго сидел невдалеке, стараясь определить, не прячется ли здесь кто-нибудь. Уже рассветало и можно было видеть, что маленькая площадка у входа в землянку густо заросла травой, вьюнок опутал дверь и тянулся дальше на крышу.

Прошка подошел, толкнул палкой дверь, постоял сбоку и только потом шагнул в землянку. Она была пуста. На лежанке у стены грудилась куча сухой листвы. Крыша с одного боку немного просела, а на полу у стены лежала осыпавшаяся земля.

Прошка прикрыл дверь и, не дав себе ни минуты отдыха, заторопился в обратный путь — надо было поскорее дойти хотя бы до окраины села. Не дай бог встретится кто-нибудь здесь в балке или на лугах — неизвестно что ему и сказать, как объяснить свою странную прогулку. И хоть без того на сердце было беспокойно, но вдруг стало Прошке и вовсе не по себе, совсем тошно. Недоброе предчувствие охватило его и гнало, торопило к дому. Взмокший, задыхающийся, где бегом, а где шагом, добрался он до лугов. Постоял, держась рукой за сердце, и едва дыхание пришло в норму, подхватился и побежал дальше. Солнце вот-вот уже должно было выглянуть из-за дальнего леса. Но лес стоял еще хмурый, сонный, зато птицы уже проснулись и в утренней тишине слышался их разноголосый гомон.

Перед самым селом Прошка забыл об осторожности и совсем некстати наскочил на деда Селивана. Дед Селиван жил через два дома от Прошки. Несмотря на свои семьдесят два года, старик курил крепчайший самосад и любил побалагурить. Последнее время Селивана мучила бессонница, и чтобы как-то себя занять, он наладился пасти за селом свою коровенку. Вставал рано, за час или два до свету, выводил со двора корову, не забыв прихватить веревку и топор, чтобы между делом набрать и вечером принести домой вязанку дров.

Растерянный, испуганный встречей, Прошка поздоровался и, не найдя, что еще сказать, заторопился дальше. Дед Селиван озадаченно посмотрел ему вслед, должно быть, и он не ожидал этой встречи. Окликнул не очень уверенно:

— Слышь-ка, Прохор, ты, никак, домой направляешься?

— Ну домой. А тебе что? — нехотя обернулся Прошка.

Старик помедлил:

— Дак тебе лучше не ходить...

— Это еще почему?

— Нельзя! — повторил Селиван. — Хворостов тебя ищет.

— Зачем я ему понадобился? — уже догадываясь и не веря, боясь поверить в свою догадку, спросил Прошка. — Вроде не сильно большая родня.

— Вот и я думаю так, — подтвердил старик. — Родня-то вы не больно близкая... — И, поглядев Прошке в глаза, тихо прибавил: — Ты не ходи, нельзя тебе. Там у вас в бане раненого нашли. Клавдю арестовали...

Прошка вздрогнул, недоверчиво поднял испуганное лицо:

— Как арестовали? Она же спала...

— Дак разбудили, поди, — вздохнул старик. — А теперя Хворостов в Дроздовку кинулся, к отцу твоему. Думает, ты к нему подался... Вот беда так беда!

Старик сочувственно покачал головой и побрел к своей коровенке. А Прошка остался один. Вокруг было тихо, по-утреннему сонно. Будто и не было ни войны, ни немцев, ни Хворостова. Стоя сейчас в этом с детства знакомом лесу, Прошка не хотел верить, что с сегодняшнего дня он должен обходить эти места за версту, и что Хворостов теперь

будет выслеживать его, словно волка, а дом и хозяйство останутся брошенными на произвол судьбы. В эту минуту он проклинал себя последними словами за то, что не отказал сегодня ночью тем троим — и вот чем все это кончилось. Спасибо деду Селивану, что предупредил. А то сидел бы сейчас в подвале под замком.

В Прошкином сознании с трудом укладывалась мысль, что уже сейчас, в эту вот самую минуту Клаву, наверное, допрашивают в полиции, возможно, даже бьют, хотя о раненом партизане она ничего не знает, что туда же через час-другой Хворостов привезет его отца, которого так же начнут допрашивать, бить и в конце концов побесят как пособников партизан. Прошка хорошо знал Хворостова и несколько не сомневался, что так оно и будет.

И как ни гадал, как ни прикидывал Прошка, все сходилось к тому, что дело скверное. Ни в Камышине, ни в каком другом селе показываться ему теперь нельзя — сразу арестуют. А в поле или в лесу без еды, без одежды много не наживешь. К тому же на дворе сентябрь. Не за горами осенние холода, дожди.

За всю свою жизнь Прошке не приходилось испытывать ничего подобного, и понимание того, что отныне он лишен приюта, что все знакомые будут бояться встречи с ним, что Хворостов обязательно доберется до него и повесит, рождали в душе страх. Страх буквально душил его, мучил, словно невыносимая физическая боль, и самое невыносимое, самое жуткое заключалось в том, что он не видел никакой возможности вырваться из беды, избавиться от этого ужаса, выжить.

Прошке уже казалось, что голова не выдержит и скоро лопнет от страшных мыслей, когда, в который раз перебирая в памяти события минувшей ночи, он вдруг встрепенулся от мелькнувшей в сознании спасительной догадки:

«Ведь ночные гости тоже где-то живут, где-то укрываются. Не всех же их, поди, еще переловили. Вот у них и перебуду, переживу, пока все утихнет».

Появившаяся возможность спрятаться, спастись от Хворостова так обрадовала Прошку, что он внезапно обессилел и взмок. Еще не сделав ни шагу по намеченному пути, он готов был плакать от радости, испытывая состояние человека, приговоренного к смерти, но в последний момент помилованного.

Потом он подумал об отце, и радость сменилась чувством беспокойства. Прошке было жалко старика. Жалко было ему и Клаву, но он понимал, что вызволить ее невозможно, а надежда спасти отца — есть. Ясно сознавал и то, что сделать это нужно сейчас, пока Хворостов не вернулся в Камышино, перехватив его где-нибудь в удобном месте.

«Уйду вместе с батей к партизанам, — решил он. — Другого выхода нет».

v

Ночью за Хворостовым прибежали из полиции. Но еще до прихода посыльного, услышав на улице автоматные очереди, он понял, что стряслось что-то серьезное. Быстро оделся, выбежал на крыльцо. В той стороне, откуда доносилась стрельба, взлетали в темное небо и рассыпались, ярко расцветая, осветительные ракеты.

«Дело нешуточное, если немцы так расшумелись», — подумал он.

То, что шум подняли немцы, Хворостов не сомневался. Стрелять в Камышине из автоматов да к тому же еще пускать в небо осветительные ракеты, кроме них, некому.

Так оно и было. От дежурного полицейского Хворостов узнал, что несколько минут назад партизанами совершено нападение на немецкую хозяйственную команду и что один солдат ранен. Стрельба и поиски диверсантов оказались безуспешными — поймать никого не уда-

лось. Шум постепенно стихал, ракеты взлетали в небо все реже, но напряжение, вызванное ночным налетом, не ослабевало. Казалось, что опасность прячется всюду, подстерегает за каждым углом.

Представлялось маловероятным, что этой же ночью нападение повторится, однако всему личному составу полиции было приказано патрулировать по улицам села до утра.

Пошел и Хворостов. В напарники ему достался Редькин — человек на редкость неаккуратный, нескладный, с маленькими, словно буравчики, глазами, способный ударом кулака убить человека.

Уже в конце ночи, после долгих, бесполезных хождений по улицам, когда Хворостов подумывал об отдыхе, Редькин вдруг насторожился:

— Чую голоса. — Предупредительно подняв вверх правую руку, он замер, вслушиваясь в тишину.

Хворостов тоже остановился, но ничего подозрительного не отметил.

— Чудится тебе. Не иначе как с перепоею, — сказал он.

— Т-с-с, — зашипел Редькин. — У меня слух лучше, чем у собаки.

Стараясь идти как можно осторожнее, полицейский двинулся вперед в направлении слышимых ему голосов. Хворостов шел следом, не очень-то веря напарнику. Время близилось к рассвету. Село будто вымерло, нигде не было ни огонька.

Перейдя улицу, приблизились к домику, перед которым стояли два высоких дерева. Редькин остановился, вытянув вперед шею. Затем, указав пальцем на домик под деревьями, зашептал:

— Тут. Слышу, тут разговаривают.

— Здесь же Прошка живет! — тоже шепотом отозвался удивленный Хворостов. — Мой родственник. Какие у него могут быть ночью разговоры.

— Слышу, что тут! — сердито повторил Редькин, снова ткнув пальцем в сторону Прошкиного дома.

Сдерживая дыхание, они подкрались к самым воротам, затаились в тени. Теперь уже и Хворостов уловил в тишине негромкие осторожные слова.

Пока он размышлял, что делать, послышались шаги. Из огорода во двор вошел сам Прошка. Остановился. Постоял. Направился в дом.

— Интере-с-но, — продолжал удивляться Хворостов. — Какие это у него дела ночью на огороде появились? Может, в бане пошарить? А ну, двинули...

Все так же бесшумно полицейские сделали круг и минут через десять вышли к Прошкиной усадьбе со стороны огорода. Подкрались к бане. Хворостов остался на углу, а Редькин прошел к двери, прикинул к ней ухом. Затем, ступая на носках, пятясь задом, приблизился к Хворостову, зашептал в самое ухо:

— Кто-то в бане есть. Дышит кто-то.

— Думаешь, много их? — спросил Хворостов.

— Не знаю, — мотнул головой Редькин. — Дыхание слышу, а сколько — не знаю.

Нерешительно потоптавшись, он снова склонился к самому уху Хворостова:

— Суну-ка я им туда гранату.

— Дурак! — шепотом ответил Хворостов. — На черта они мне дохлые. Их надо живыми взять. Может, в дому еще, кроме Прошки, кто есть... В общем, вдвоем брать рискованно. Я здесь покараулю, а ты дуй, приведи кого-нибудь. Только побыстрее.

Оставшись один, Хворостов спрятался у изгороди, в тени, с таким расчетом, чтобы ему были видны и баня, и дорожка к дому. Он сомневался, что высидит на Прошкином огороде что-нибудь путевое, и взялся за проверку лишь для очистки совести.

«Какая-нибудь пьяная история. Не тот у моего родственничка характер, чтобы утруждать себя серьезным делом. Нажраться да поспать — вот на это он мастер. При случае похвастаться чем-нибудь или своей Клаве физиономию набить — тоже может. Вот, пожалуй, и все его таланты, — размышлял Хворостов. — К тому же — ленив. Не помню, чтоб и при советской-то власти он отличался на работе особым усердием».

Небо на востоке посветлело. Хворостов продрог, но лежал неподвижно, зорко наблюдая за Прошкиной баней и за видневшимся вдали домом. Времени, по его мнению, прошло достаточно много, но Редькина все не было. В окнах кое-каких домов затеплились огоньки, из печных труб появился дымок. На соседнем дворе послышались голоса проснувшихся хозяев, где-то замычала корова. Хворостов уже пожалел, что не отправился за помощью сам, а послал Редькина, когда наконец услышал со стороны улицы голоса и торопливый топот ног.

Прятаться теперь не было смысла. Хворостов поднялся из-за забора, стараясь согреться, размять занемевшее тело.

Во дворе стукнула калитка, раздалась частые нетерпеливые удары в дверь. Кто-то там уже распахнул сарай, кто-то выругался, а от дома по огороду, направляясь к бане, бежал Редькин. Не дожидаясь, пока подойдет Хворостов, он дернул на себя дверь бани, ворвался внутрь и через минуту выволок наружу человека в рваной окровавленной одежде. Голова и грудь человека были неумело забинтованы, руки и ноги беспомощно волочились по земле. Вытащив раненого, Редькин схватил его своей громадной ручищей за горло.

— Ты что, сдурел?! — закричал Хворостов. — Сам лично доставишь его в полицию. И чтобы был живехонек! Может, он еще разговорится... Гляди мне!..

То, что в бане оказался раненый партизан, совсем сбило Хворостова с толку. Получалось, что Прошка не так уж и безобиден, как ему думалось. «А может, все тут обошлось без Прошкиного вмешательства? Ну да поглядим, поглядим, — рассуждал Хворостов. — На допросе все выяснится... Ишь, мирный человек выискался!» — вспомнил недавний разговор с Прошкой.

Редькин уже волок задержанного к дому, держа его рукой за шиворот, голова раненого безвольно болталась из стороны в сторону — очевидно, он был без сознания. Полицейские тем временем вытолкали во двор полусонную, ничего не понимающую Клаву и шарили по всем углам, разыскивая Прошку.

— Где он? — спросил Хворостов у Клавы.

— Да черт же его знает, куда он девался! — крикнула она. — А ты что выдулился на меня? С бабами воевать, я смотрю, вы мастера...

Редькин коротко, наотмашь ударил ее по лицу.

— Как разговариваешь, дура? Отвечай, коли тебя спрашивают. Где Прошка?

— Да я откуда знаю? Легли вместе вроде, а утром хватилась — нету. А ты руки-то не распускай! — зыркнула на Редькина. Тот предупредил:

— Ладно, ладно, поговори мне еще...

— Будет! — оборвал Хворостов. — Будет, — повторил тише и махнул рукой. — Веди ее, а я в Дроздовку. Наверное, Прошка подался туда, к отцу. Больше ему деваться некуда.

Совсем рассветало, когда Хворостов выехал из села, озабоченно погоняя лошадь, запряженную в телегу. Он был уверен, что Прошка сбежал к отцу в Дроздовку, скорее всего надеясь там кое-что прихватить, прежде чем скрыться окончательно, и едва ли предполагает, что полиция уже идет по его следу. Хворостов намеревался схватить Прошку, не дав тому опомниться. Именно в быстроте, во внезапности видел

он свой успех. У него были все основания гордиться собой. Он предполагал, что человек, скрывавшийся у Прошки в бане, и есть тот самый диверсант, совершивший ночью нападение на немцев, и предвидел, какую благоприятную реакцию вызовет у вышестоящего начальства весть о поимке большевика. Ну а уж если сегодня же будет арестован и доставлен в полицию Прошка — авторитет Хворостова подскочит как никогда. Да если узнают, что он и родственника не пожалел...

Сейчас, уже отъехав от села на значительное расстояние, он обругал себя, что погорячился и отправился в Дроздовку один. Не исключено, что Прошка окажется у отца вместе со своими дружками, тогда дело может обернуться худо. Однако возвращаться не стал. Хоть и опасное ему предстояло дельце, а в глубине души хотелось Хворостову выполнить его самому, чтобы потом ни с кем не делиться славой.

«Можно будет прихватить дроздовского старосту или еще кого, — решил он. — А в крайнем случае уж с двумя-то такими, как Прошка, всегда справлюсь».

Лошадь бежала резво, дорога здесь до самой Дроздовки добрая, накатанная, и думы Хворостова были сейчас под стать этой ровной, гладкой дороге — хорошие, радующие душу.

«Конечно, еще с год, а может, и побольше придется повозиться в дерьме. Тут уж ничего не поделаешь. Война закончится, жизнь установится, окрепнет и уж тогда не только в Камышине, а и во всех окрестных селах имя Хворостова будет известно и малому, и старому. Это нынче при встрече со мной многие воруют морду, а тогда кланяться будут. Скоро, скоро все встанет на свои места».

У ручья Хворостов слез с телеги, подвел лошадь к воде, дал ей напиться. Потом снова вскочил на телегу, дернул вожжи. Через несколько минут лес кончился, дорога выбежала на луга. Хворостов закрепил вожжи, достал из кармана пачку папирос, чиркнув зажигалкой, закурил. Подумал, что надо бы бросить в телегу для удобства пару охапок сена, но останавливаться, тратить время не хотелось.

Неожиданно внимание Хворостова привлекло что-то валявшееся на скошенном лугу недалеко от дороги. Разглядеть издали, что именно там валялось, было трудно, и заинтересованный необычностью предмета, он остановил лошадь, слез с телеги, подошел.

Это был окровавленный рукав мужской рубашки.

Хворостов присел на корточки, осторожно поднял находку, подержал в руках, кровь на рукаве была свежая, в некоторых местах, как ему показалось, даже еще не засохшая.

Почуввав неладное, он поднялся, отбросил недокуренную папиросу, огляделся: дорога и луг были пустынные. Лишь вдалеке над стогами сена кружили птицы. Хворостов снова перевел взгляд под ноги, стараясь определить, в какую сторону прошел здесь человек, и скоро различил неясные крупные мужские следы. Правда, следы как будто никуда не вели, но это скорее всего значило, что человек стоял здесь долго, перевязывал рану, может быть, даже отдыхал.

Сделав несколько больших кругов вокруг находки, Хворостов обнаружил на земле несколько новых углублений и определил: незнакомец двигался к стогам.

«Похоже, мне сегодня крупно везет, — подумал он. — По всему видно, что на лугу кто-то прячется. Скорее всего в налете на немцев участвовали двое. Тяжелораненый остался у Прошки в бане. А этот ушел сюда».

Хворостов вернулся к телеге, взял в руки винтовку и повел лошадь к ближайшему стогу. Предварительно осмотрев его со всех сторон, оставил тут лошадь, и держа винтовку наготове, двинулся дальше.

Вскоре он снова увидел на земле след человека, очень слабый, едва приметный. Это были все те же большие сапоги. Хворостов порадовался, что чутье его не обмануло, что он не проехал мимо того окро-

вавленного лоскута. Теперь предположение, что человек может прятаться где-то здесь, превратилось в уверенность, и он удвоил внимание.

«Вот бы сейчас сюда Редькина. У того не только слух собачий, но и нюх нисколько не хуже. В два счета бы унюхал, где большевик прячется».

Осмотрев ближайшие к дороге стога и не обнаружив ничего подозрительного, Хворостов направился к дальним стогам.

«Эх, все-таки напрасно я погорячился и поехал один. Вдвоем мы бы его быстро скрутили. В дальнейшем надо быть поосторожнее. Этак можно и головы не сносить. Большевики — люди конченные. Им терять нечего. Песенка их спета. А я, по правде говоря, жить только начинаю. Во вкус вхожу».

Внимательно обшаривая глазами каждый стог, Хворостов медленно двигался по лугу. Уже в дальнем конце его он еще издали заметил кем-то потревоженный с одной стороны стожок и задержал шаг, вглядываясь.

«Вот здесь он, кажется, голубчик, и спрятался».

Внезапно Хворостов снова увидел на траве неясные следы и сразу же отметил, что вели они именно туда, куда он предполагал.

Со всеми предосторожностями подобравшись к стогу, Хворостов заглянул на ту его сторону, которая была разрыта: сомнений не оставалось — под сеном кто-то затаился.

Было ясно, что человек этот один. К тому же — ранен.

«Будь он здоров, — рассуждал Хворостов, — он бы постарался уйти подальше и спрятался бы гораздо лучше. А у одного, да к тому же еще раненного, на это, как видно, не хватило сил. Он с трудом смог лишь завалить себя сеном».

Таким образом, Хворостову теперь предстояло подумать, как полвчее выкурить беглеца из его берлоги. При этом надо было иметь в виду, что тот вооружен и, возможно, будет сопротивляться. В его положении ничего другого не оставалось. Хворостову не раз приходилось иметь дело с такими вот партизанами-одиночками, и он знал их натуру. Конечно, проще бы выстрелить пару раз в сено или бросить гранату, но это его не устраивало, ему хотелось привезти большевика в полицию живым.

Волнуясь, Хворостов присел чуть в сторонке от разрытого бока стожка, склонил голову, пытаясь заметить в логове какую-нибудь отдушину, и вдруг увидел едва приметный под сеном каблук сапога.

Хворостову стало жарко. Глаза хищно сузились. Долго топтаться у логова было нельзя. Человек мог почувствовать опасность и предпринять меры защиты, а это было нежелательно.

Будь сейчас рядом Редькин — дело не представляло бы никакого труда. А брат одному пусть даже и раненого бандита было опасно. И все-таки надо было брать.

Хворостов аккуратно прислонил винтовку к стогу с таким расчетом, чтобы потом при надобности ее сразу можно было взять, подкрался к тому месту, где в глубине под сеном он только что заметил каблук, и, быстро схватив обеими руками ногу человека, рывком выволок его наружу. И пока тот, лежа на животе, пытался повернуться, Хворостов схватил винтовку и взял ее наперевес.

— Вот так-то будет лучше, — сказал он. — И не вздумай чего-нибудь... прихлопну, как муху, без свидетелей.

Пойманный человек имел жалкий вид. На нем была изорванная окровавленная рубаха и вконец разбитые сапоги. Левый рукав рубашки был оторван, голая рука неумело, кое-как перевязана тряпкой. Никакого оружия, кроме ножа, висящего в ножнах на поясе, кажется, у него не было.

Хворостов снял с незнакомца пояс и вместе с ножом отбросил в сторону. Затем полез в карман пиджака за сыромятным ремнем, чтобы

связать задержанного. В этот момент лежащий на земле человек вдруг изловчился и больно ударил Хворостова ногами в подбородок. Падая навзничь, Хворостов успел подумать, что раненый попытается добраться до отброшенного в сторону ножа, и тогда ему каюк. И он, подталкиваемый этой мыслью, вернее сказать страхом, мгновенно вскочил.

Нож лежал далеко. Быстро добраться до него задержанный, конечно, не мог. Он был слаб и еще только пытался подняться, когда Хворостов бешеным ударом сбил его с ног, с маху пнул кованым сапогом по раненой руке. Человек застонал, согнулся, инстинктивно прижимая к себе руку. Потом повернул голову и посмотрел снизу вверх:

— Сволочь ты. Шкура продажная. Иуда.

Хворостов завернул ему руки за спину, скрутил ремнем. Потом подумал и связал ноги. Справившись с этим делом, поднялся, потирая ушибленную челюсть, с ненавистью глядя на беспомощного теперь пленника. Сказал с недоброй усмешкой:

— Ничего. Потерплю. Нервы у меня крепкие. Я ведь понимаю, зачем ты меня саданул. Легкой смерти ищешь? Только не надейся. Не выйдет. Смерть ты у меня будешь выпрашивать, как великую милость.

Набросив ремень винтовки на плечо, Хворостов пошел за лошадь. Он слышал, что связанный им человек постанывает от боли, бормочет что-то, но не обращал внимания. Сейчас человек не представлял опасности — и это было главное. Дальнейшая его судьба была Хворостову безразлична. Разумеется, большевика будут допрашивать, потом повесят, но о таких мелочах он давно привык не думать. Когда-то, где-то он вычитал, что самый лучший враг — мертвый враг, и полностью был с этим согласен.

Хворостов привел лошадь, поставил так, чтобы лежащий на земле человек оказался рядом с телегой. Почувяв кровь, лошадь косила глазом и тревожно фыркала.

— Стоять, дура! — крикнул Хворостов. — Чего боишься? Теперь его нечего пугаться. Хватит, поугал...

Подойдя к связанному, хотел пнуть того, но передумал. «Кто знает, может, в нем едва душа теплится. Пнешь, а он очокурится. Мертвого-то мне его нет интересу везти».

— Ну-ка, ты! — крикнул он. — Дышишь еще?

Человек молчал, неловко ткнувшись лицом в траву.

Поплевав на ладони, Хворостов подхватил с земли своего пленника, с натугой завалил на телегу, вытер со лба пот.

— Вот, отдохни маленько. А то потом некогда будет, когда Редькин тобой займется.

Положив винтовку и снятый с себя пиджак, в карманах которого лежало по гранате, Хворостов сел на край телеги и тронул лошадь.

Сначала он хотел отправиться в Дроздовку вместе с задержанным, но передумал. Это показалось ему рискованно.

«Вернусь в Камышино, сдам этого гуся и — за Прошкой. Думаю, что еще не поздно будет. Потеряю не больше часа».

VI

Родившаяся несколько минут назад мысль освободить отца и учинить расправу над Хворостовым прочно завладела Прошкой. Прошка даже представил себе, как тот будет ползать перед ним на коленях по пыльной дороге и, размазывая кулаком слезы по лицу, молить о пощаде.

Решив, что так все и должно быть, он облегченно вздохнул и решительным шагом двинулся в глубину леса.

Сосну, в дупле которой был припрятан наган, он хорошо помнил и скоро нашел ее. Хватаясь за сучья, вскарабкался по стволу вверх, до-

тянулся до дула, сунул в него руку: наган был на месте. Прошка скатился вниз, развернул тряпку, погладил оружие, дунул зачем-то в ствол, потом спрятал в карман.

Направляясь в сторону дороги, где намеревался встретить Хворостова, Прошка старался мысленно увидеть ее от Дроздовки до Камышина. Все свои шесть километров дорога петляла по голому открытому полю. Спрятаться и подстеречь Хворостова тут было негде. Еще издали заметив Прошку, он сразу бы разгадал его намерение. Засаду на этого хитрого и осторожного человека надо было устраивать там, где бы он был спокоен, ослабил бы внимание, не видел бы никакой опасности. Самой подходящей в этом отношении оставалась короткая часть пути, почти на въезде в село. Здесь Прошка и решил подкараулить Хворостова. Он сейчас не думал о том, что село совсем рядом, в каком-то полукилометре, и оттуда уже через несколько минут на звук выстрелов прибудет полиция, и о том, что после нападения на Хворостова ему средь дня едва ли удастся уйти от погони. Все это Прошке, попросту говоря, не приходило в голову.

В ложине, где он облюбовал место для засады, протекал ручей, впадающий далеко за селом в речку Сороку. Через ручей был переброшен мостик. Справа и слева близко к нему подступали кусты, за которыми можно было надежно укрыться. Сюда-то и направился сейчас Прошка. Беспокоило его лишь то, что в ложине могли оказаться люди. Это бы помешало задуманному. Но опасения оказались напрасными: и у ручья, и у дороги никого, за исключением нескольких мирно пасущихся коров, не было.

Выбрав куст поудобнее, пошире других, Прошка лег за него, огляделся. Обнаружить его со стороны дороги было трудно, сам же он без помех имел возможность наблюдать за всем, что могло происходить перед ним.

Здесь в низине, у самого ручья, земля была сырая. Одежда на Прошке вскоре стала влажной, но он не обращал на это внимания и, глядя на дорогу, думал о Хворостове, о том, что тому уже недолго осталось ходить по земле. Наган он вытащил из кармана и положил перед собой. Пользоваться оружием Прошке ни разу в жизни не приходилось. В армии он не служил по причине какой-то мудреной болезни, которую у него обнаружили врачи, охотой не баловался, но считал, что стрельба — занятие нехитрое. Как это делается, он много раз видел.

Ждать Прошке пришлось, на удивление, недолго, и, увидев приближающуюся повозку, он подумал даже, что едет кто-то другой. По своим подсчетам он полагал, что Хворостов сейчас должен был лишь тронуться из Дроздовки. А пути оттуда не менее как на час. Однако же, присмотревшись хорошенько, признал в человеке, правившем лошадью, того, кого поджидал. Да его и нетрудно было признать, хотя бы по черной, как смоль, бороде, по широкоплечей фигуре, а главное — по лошади. Лошадь у Хворостова приметная: темная в яблоках, с белой звездой на лбу.

«Вернулся с полдороги, не поехал, — догадался Прошка. — Что-то на него не похоже».

Напружинившись, приподнявшись на локтях, весь подавшись вперед, он, не отрываясь, смотрел на дорогу. Хворостов сидел на краю телеги, свесив ноги, то и дело нетерпеливо погоняя лошадь. Было видно, что он неспокоен и торопится. В зубах у него дымилась папироска. Сзади в телеге что-то лежало. Что именно, Прошка пока разглядеть не мог, но когда телега подкатила к самому мостику, ясно увидел связанного человека.

«Батя! — ахнул он. — Все-таки арестовал, гад! А я думал, он с полдороги вернулся».

Не в силах больше сдерживать себя, он навел на полицейского наган и, закрыв глаза, нажал на спусковой крючок: раздался выстрел.

Прошка вскочил на ноги, продрался через куст к дороге и увидел, что Хворостов лежит на земле, а испуганная выстрелом лошадь, шараясь в сторону и подминая кусты, уже влетела в лес и остановилась там, видимо, за что-то зацепившись телегой.

«Вот так, — подумал Прошка. — Конец паразиту. Еще легко отделался. По справедливости-то ему бы надо придумать не такую, а самую лютую смерть. Сколько, гад, людей сгубил...»

Но едва он успел так подумать, как Хворостов вскочил и бросился к ближайшим кустам.

— Стой, сволочь! — закричал Прошка и, стараясь целиться лучше, выстрелил еще раз. Хворостов упал, снова вскочил, резко свернул в сторону. Будь в этот момент в руках у него оружие, Прошкина судьба была бы решена здесь же, на дороге. Но все получилось не так. Когда сбоку из лесу прозвучал выстрел и пуля обожгла щеку, инстинкт самосохранения бросил полицейского на дорогу, лошадь понесла, и ему не оставалось ничего другого, как кинуться в лес. За кустами полицейский оглянулся, увидел выбежавшего с наганом в руке человека и, к великому своему изумлению, узнал в нем Прошку. Хворостов спрятался за дерево, остановился, стараясь сообразить, что же теперь делать. Оружие по нелепой случайности осталось в повозке, которая находилась сейчас за спиной стоящего на дороге Прошки. Сделать круг по лесу и первым добраться до запутавшейся в кустах лошади он уже не успеет, из-за укрытия Хворостов видел, что связанный партизан приподнялся на телеге и нетерпеливо звал Прошку, чтобы тот скорее освободил его от пут. Произойдет это через минуту, самое большее через две. И тогда их станет двое.

Можно было бы попытаться заманить Прошку поглубже в лес и здесь обезоружить, но тот углубляться в лес, кажется, не собирался.

— Слушай, ты, дурак! — крикнул Хворостов, надеясь, что Прошка бросится за ним. — Ты хоть соображаешь, что ты делаешь?

Прошка поднял наган и выстрелил, ориентируясь на слух. Он уже понял, что стрелял плохо, что затея его удалась не полностью: Хворостов ушел живым. Кроме того, следовало спешить, пока из села не приехали полицейские, и Прошка заторопился к телеге. Однако, увидев в ней совершенно незнакомого, намазанного в крови человека, которого ошибочно принимал за своего отца, остановился, не понимая, что произошло.

«Значит, Хворостов не ездил в Дроздовку? — подумал не без удивления. — Значит, батя дома? И я напрасно все это затеял?..»

От волнения Прошка остановился. Он уже готов был махнуть в кусты, подальше и от Хворостова, и от всех дел, когда связанный по рукам и ногам человек снова приподнялся на телеге и окликнул Прошку:

— Эй, чего ты стоишь? Развяжи быстрее.

В голосе его, помимо нетерпения, почудилось Прошке что-то такое, что заставило его против собственной воли повиноваться. Он подошел вплотную.

— Сейчас я, сейчас, — заторопился, пытаясь развязать ремни.

— Ну и туха же ты, — не выдержал незнакомец. — Может быть, у тебя есть нож?

— Ага, где-то был, — отозвался Прошка и принялся шарить по карманам. — Вот, нашел.

Открыв складной ножичек, он дрожащими руками перерезал ремни, не переставая опасно поглядывать на суровое лицо лежавшего в телеге человека.

— Где он? — спросил незнакомец, придвигая к себе винтовку и внимательно оглядываясь.

— Кто? — не понял Прошка.

— Ну этот, в которого ты стрелял.

— Хворостов, — сказал Прошка и смущенно махнул рукой в сторону леса. — Наверно, за подмогой побег.

— Плохо, — поморщился неизвестный. — Очень плохо.

Проверив, заряжена ли винтовка, он придвинул к себе пиджак Хворостова.

— Помоги надеть. Видишь, в каком я наряде.

Прошка помог ему просунуть раненую руку в рукав. Потом попытался зачем-то высвободить телегу, наехавшую одним колесом на дерево.

— На разговоры у нас с тобой времени нет, — сказал освобожденный Прошкой человек, осмотрев гранаты и снова спрятав их в карман пиджака. — Надо уходить. И чем скорее, тем лучше.

Уже шагнув в сторону зарослей, обернулся:

— Ты как, со мной?

— С тобой я, с тобой, — поспешно согласился Прошка. — Одному мне теперь никак невозможно.

Упоров ничего не ответил и, держа винтовку в правой здоровой руке, направился прочь от дороги.

Прошка оглянулся на оставленную запряженную лошадь и заторопился следом.

VII

Упоров считал, что допустил какую-то ошибку, которая и навела полицейского на его след. Видно, где-то промахнулся, что-то сделал не так, и этот бородатый тип, проезжая мимо, заподозрил неладное.

Вчера вечером, выйдя к стогам, Упоров почувствовал, что выдохся, решил дать себе отдых хотя бы на несколько часов. Он уже забыл, когда в последний раз спал, и держался на ногах лишь потому, что знал — иначе невозможно, иначе — гибель. Однако всему есть предел. Свалившись у дальнего стога, он еще смог кое-как зарыться в сено, когда силы окончательно покинули его.

То, что он имеет дело с врагом сильным и опытным, Упоров убедился сразу. Бородач скорее всего был полицейским. Это можно было определить и по винтовке, которая лежала в телеге. Покуривая, погоняя лошадь, он время от времени оглядывался на своего пленника, но Упоров не подавал виду, что очнулся. Он уже догадывался, что его везут в село, где он этой ночью потерпел неудачу, и что надежды на спасение тают с каждой минутой. Попытку развязать руки и напасть на бородача он оставил сразу же. Ременные путы на руках и ногах сделаны надежно, полицейский свое дело знал хорошо.

Пощады Упоров тоже не ждал. Он хорошо знал, с кем имеет дело. Однако считать себя побежденным, сломленным пока не собирался. Трудно было предположить, как станут развиваться события, что случится через полчаса или час, но как бы они ни развивались, Упоров был обязан что-то придумать, постараться любой ценой обмануть, перехитрить противника.

...Нападение Прошки на полицейского было для Упорова полной неожиданностью. Вначале он даже не понял, что произошло. Лишь когда бородач скрылся в кустах, бросив повозку, сообразил — произошел невероятный, почти фантастический случай, который выпадает человеку разве что один раз в жизни. Еще несколько минут назад, обдумывая свое положение, он и мысли не допускал, что с ним может произойти такое. Вообще ко всякого рода легким удачам Упоров относился с недоверием. На войне за все приходится платить дорогой ценой. Иной меры в нелегком ратном деле он не знал. Да ее и не было — иной меры. Упоров был далек от мысли считать врага недостаточно расторопным или несообразительным. Любая ошибка или недооценка противника могла стоить жизни, и именно поэтому сейчас важно было взвесить, обдумать каждую мелочь, каждый свой шаг.

Оставив позади лошину, в которой протекал ручей, беглецы одолели невысокий подъем, пробежали с километр лесом и вышли на луг. За лугом, за стогами сена почти у самого горизонта голубела ленточка роши. Если перевести взгляд правее от роши, то можно было увидеть едва различимую отсюда желтую полосу противоположного обрывистого берега речки Сороки, за которой находилась Волчья балка.

— Эх, зря лошадь бросили, — подал голос Прошка. — На лошади мы бы далеко могли укатить.

Упоров еще раньше, там, на дороге, подумал о лошади и не жалел, что они не воспользовались ею. Во-первых, лошадь нельзя спрятать. Сколько на ней ни проедешь, а бросить придется, и, наткнувшись на нее, преследователи сразу же догадались бы, где нужно вести поиск. Во-вторых, с лошадью они были бы привязаны только к дороге, тогда как сейчас у них была гораздо большая возможность найти себе укрытие. И, в-третьих, там, на дороге, они в любую минуту рисковали бы наткнуться на патруль. Однако и в том случае, если бы дорога оказалась пустынною, они все равно бы далеко уехать не смогли: по эту сторону села простирались ровные, как стол, поля, где человеку укрыться негде. Километрах в тридцати-сорока отсюда поля эти упирались в берег полноводной реки Свежи. Успеть за считанные минуты, которые оставались у беглецов, добраться до реки и переправиться на другой берег, где начинались глухие леса, конечно, было нельзя. К тому же дорога, по которой бы им предстояло ехать, вела в город Еланск, что на берегу Свежи. А в городе — немецкий гарнизон да и полиции там побольше, чем в Камышине.

Упоров сразу же подумал, что тем, кто будет их преследовать, покажется вполне логичным, что беглецы постараются уйти от села, от опасного места как можно дальше, и вот это-то предположение и намеревался сейчас положить в основу созревшего у него плана, по своей сути чем-то похожего на вчерашний план прорыва, выдвинутый командиром партизанского отряда. Он решил никуда не уходить и спрятаться у самого села, то есть сделать то, что противнику едва ли сразу придет в голову.

Надо сказать, что план этот возник не столько благодаря опыту Упорова, сколько из-за печальной необходимости: с каждой минутой Упоров чувствовал себя все хуже. Раненая рука горела огнем, пальцы одеревенели. В голове стоял шум. Временами, боясь потерять сознание, он задерживался, отставал от Прошки и, ухватившись за дерево, ждал, пока приступ слабости пройдет.

На кромке луга, не выходя из леса, они на минутку остановились. Надо было сообразить что к чему.

— Как тебя звать? — спросил Упоров. Он тяжело дышал, запально, открытым ртом.

— Прошка я. Тутушный, — так же тяжело дыша, ответил его случайный попутчик, вытирая с лица обильно выступивший пот.

— Хреновые у нас с тобой дела, Прохор, — сказал Упоров. — Нам бы с тобой как-то до вечера продержаться. Вечером мы бы ушли. А сейчас, видишь, еще только утро.

— Давай в Волчью балку, — предложил Прошка. — Я знаю, там есть землянка...

— Не годится, — покачал головой Упоров. — Именно в Волчьей балке они и начнут искать в первую очередь. Очень уж заманчивое место. А нам бы с тобой, Прохор, в такую щель забраться, чтобы им и в голову не пришло там нас разыскивать.

Они уже собирались двинуться дальше вдоль края леса, когда Упоров услышал в той стороне, откуда они бежали, шум моторов.

— Ну вот, началось. Для начала они прочешут вон ту дальнюю рошу, и когда не найдут нас там, оцепят балку. На это у них уйдет часа два. Затем они поймут, что мы где-то здесь. Очень хорошо, Прохор, ес-

ли бы это было именно так. За два часа мы бы сумели что-нибудь придумать. Хуже, если у них две группы. Тогда они наткнутся на нас быстрее.

Прошка испуганно глянул на Упорова.

— Да ты успокойся, — сказал Упоров. — Это я прикидываю возможные варианты. Думается, Прохор, что нам сейчас нужно плотнее держаться к жилью. Именно в этом наше спасение. Не знаю, кто уж там, немцы или полицаи, но им покажется маловероятным, что мы никуда не ушли, а еще больше приблизились к селу. Это крайне рискованно, но другого выхода нет. Там, в открытом поле, они нас за полчаса перестреляют, как зайцев.

Обычно малоразговорчивый Упоров сейчас старался не молчать. Он видел, что Прошка напуган случившимся, подавлен, и хоть не понимал, что происходит с этим человеком, не знал, что он из себя представляет, пытался ободрить его, поддержать.

Передохнув, они снова долго бежали краем леса, который вскоре начал редеть, а еще через некоторое время впереди за деревьями уже можно было увидеть серую ленту дороги, по которой Упоров этой ночью пришел со стороны болота.

— Зря торопились сюда, — прохрипел Прошка. — Тут мы как на ладони. Давай назад!..

Упоров молчал. Лежа за деревьями, внимательно разглядывал окраину села, и первичавший Прошка никак не мог понять, что его там заинтересовало.

— Значит, ты местный? — спросил Упоров, не оборачиваясь.

— Ну.

— Что это? — он указал в сторону дороги.

Прошка посмотрел туда, куда ему указали, но ничего интересного, со своей точки зрения, не увидел.

— Вои там земля накопана и кирпич валяется.

— А-а, — досадуя на то, что они попусту теряют тут время, махнул рукой Прошка. — До войны что-то хотели строить, да не успели.

— Хорошо, — произнес Упоров, не отрывая глаз от видневшихся вдали груд кирпича и глины. — Пожалуй, это то, что нам с тобой сейчас нужно.

— Так у дороги же... — испугался Прошка. — Село рядом.

— Вот и прекрасно. И те, что нас с тобой ищут, наверное, подумают точно так же и едва ли нас тут сразу станут искать.

От края леса до видневшейся впереди дороги было метров шестьсот. За дорогой вдалеке виднелся кустарник. Заинтересовавшие Упорова следы стройки находились примерно на полпути между дорогой и лесом.

— Ты, парень, духом не падай, — пытался поддержать своего спасителя Упоров, видя, как того начинает бить нервная дрожь. — Давай незаметно пробираться к тем кучам кирпича и лежи тихо, смиренно. Давай, Прохор, ползи, пока никого нигде не видно.

— На этом бугре нас с тобой со всех сторон будет видно, — стучал зубами Прошка. — На гибель же лезем...

— А ты что предлагаешь? — спросил Упоров. — В поле? Да там же человека можно увидеть за два километра. В поле сейчас идти бессмысленно. Конечно, они не дураки и в конце концов доберутся и до этих куч кирпича, где мы думаем спрятаться. Но до той поры мы что-нибудь придумаем. Так что давай, Прохор, отправляйся. Только ползи осторожнее, чтобы тебя со стороны не было видно.

Прошка повиновался. Озираясь по сторонам, пополз, неумело загребая по земле ногами и руками. Вскоре он достиг первой кучи кирпича, которая лежала на открытом месте, затем добрался до бурьяна, что рос у края траншеи, и скрылся из виду. Дорога впереди была по-прежнему пустынна, но Упоров все медлил. Со стороны села ему вроде

как послышался скрип тяжелых колес. Действительно, вскоре из-за домов показалась подвода. Сидевший в ней человек время от времени понукал лошадь, но она все равно шла лениво. В повозке лежали наполненные чем-то мешки. Проехав по дороге мимо заброшенной стройки, где сейчас прятался Прошка, человек стал удаляться от села.

Уповор еще раз внимательно огляделся, прислушался и, не заметив ничего подозрительного, пополз медленно, с остановками.

VIII

Время перевалило за полдень. Несколько раз со стороны лугов и Волчьей балки доносились короткие автоматные очереди. Видимо, проверка местности за селом все еще продолжалась. Чистое с утра небо затянуло сейчас облаками, похоже, собирался дождь. Дорога, проходившая неподалеку от укрытия, по-прежнему оставалась пустынной. За все время по ней проехали лишь две подводы и немецкий грузовик с ящиками. В ближних дворах несколько раз появлялись хозяева, но вскоре исчезали. Никто не обращал никакого внимания на эти груды кирпича. Траншея, в которой сидели Уповор и Прошка, была неглубокой, местами обвалившейся, сплошь заросшей густым высоким бурьяном. Пахло польню, кирпичным крошевом и еще чем-то невнятным, слегка кружившим голову. Высоко в небе кружил коршун, выискивая, должно быть, добычу. Было так тихо, что звенело в ушах от этой тишины.

— Ты что хмуришься? — спросил Уповор отчужденно молчавшего Прошку. Тот вздохнул, но ничего не ответил. Он думал сейчас о своем брошенном доме, в который, по-видимому, уже никогда не вернется, о Клаве думал, и в горле скапливалось что-то твердое, горьковатое. Дорого бы дал Прошка за то, чтобы ничего этого не было: ни событий прошедшей ночи, ни нападения на Хворостова, в котором он уже раскаивался. Прошке казалось, что если до того, как он напал на Хворостова, Клаву еще могли пощадить и отпустить домой, то теперь участь ее решена окончательно. Так же решена теперь и участь отца. Обоих теперь наверняка повесят. И выходит, он не только не помог им, а еще больше навредил. Случившееся казалось жутким, кошмарным сном, и если бы не присутствие здесь этого хмурого и спокойного человека, удерживавшего его от какого-нибудь неоправданного и глупого поступка, — он уже давно, наверно, нарвался бы на облаву.

— У меня же семья, — заговорил он наконец. — Жену вон могут повесить. И отца.

Уповор, прищурившись, долго смотрел сквозь кусты бурьяна в сторону Волчьей балки.

— Теперь, Прохор, всем нелегко. У меня тоже есть мать, жена, дочка. Кто знает, где они сейчас. Может, и в живых уж нет. Но я так думаю: дорога к дому лежит через войну. Другой нет. И не может того быть, Прохор, чтобы мы их не одолели. Не может того быть.

Помолчав, спросил:

— А что это ты на полицейского-то напал? Видно, насолил он тебе изрядно...

Прошка не сразу ответил.

— Партизаны этой ночью оставили у меня в бане раненого. А Хворостов вынюхал. И раненого, и жену схватил. Я еле спасся. А когда увидел повозку, думал, Хворостов отца взял, вот и решил...

— Понятно, — кивнул Уповор. И еще раз сказал: — Понятно. А вот стреляешь ты плохо. Четыре выстрела — и ни одного попадания. А если бы ты его убил, мы бы сумели сейчас уйти. Полицейские понятия бы не имели кого искать, где мы находимся и что мы из себя представляем.

— Не могу я, — вдруг сказал Прошка и даже всхлипнул.

— Ты чего это? — обернулся Уповов. — Чего, говорю, слюни распустил? Вот уж не думал...

В этот момент в направлении Волчьей балки, — где-то не очень далеко, снова простучала автоматная очередь. Потом донесся звук взорвавшейся гранаты.

— Разошлись вовсю, — кивнул в сторону взрыва Уповов. Затем спросил: — Ты как думал-то? Кокнуть полицейского и — в кусты?

— Никак я не думал, — снова всхлипнул Прошка. — Сдуру все получилось. Сам, можно сказать, в петлю залез.

— Что-то я не пойму тебя, парень, — Уповов с любопытством глянул на своего попутчика.

— А что тут понимать! — озлился Прошка. — Уговорили, как дурака, наобещали, а я уши развесил. По глупости вот и пропадать...

Прошка трусил и, наверное, с этим ничего уж нельзя было поделаться, однако Уповов не терял надежды, что парень возьмет себя в руки. Немало он встречал таких вот, которые потом становились настоящими бойцами.

— Почему пропадать-то? — спросил он. — С чего ты взял? Я, например, не собираюсь пропадать. Мне еще после войны пожить хочется. Вернуться в свою школу. Детишек учить. Я, Прохор, тоже ведь не солдатом родился, до войны учителем был. А врагов бояться, Прохор, нельзя. Ненавидеть — это надо.

— Что ты других по себе равняешь, — тяжело вздохнул Прошка. — Если бы все такие были...

Договорить он не успел. Со стороны леса внезапно донесся пока еще слабо слышный, отдаленный собачий лай. С того времени, как началась проческа окрестностей села, Уповов постоянно прислушивался, боясь услышать этот лай. Не будь овчарок — они с Прошкой отсиделись бы до темноты и ушли. Сейчас же, если на их след напали овчарки, надежда на спасение сводилась к нулю.

Через несколько минут собачий лай послышался уже отчетливо и близко. Услышал его и Прошка.

— Что это? — насторожился он.

— Овчарка, — сказал Уповов. — Кажется мне, что она идет по нашему следу. Надо нам, Прохор, подготовиться и встретить их как следует.

Он устроился в траншее поудобнее, положил перед собой винтовку, принимая мешавшие обзору ветки полыни.

— Где у тебя наган? Или ты решил без боя сдатьсь?

— Ничего я не решил...

Собачий лай слышался уже совсем рядом.

Уповов дослал патрон в патронник, приготовился. А перед мысленным взором его вдруг пронеслось, как уходили они в прошлом году по осеннему лесу от погони с раненым лейтенантом Костей Шаговым. Позже были бои и новые трудности, лишения и гибель товарищей, но этих бегущих по следу овчарок, которых пришлось встречать тогда голыми руками, потому что никакого оружия не было, ничто не могло заслонить в памяти Уповова. С той поры всякий раз, когда он слышал лай, в памяти неизменно вставали осенние леса, погоня и Костя Шагов на мокрой траве, растерзанный овчарками... Сейчас Уповов подумал холодно и расчетливо:

«В первую очередь нужно покончить с собакой. Хорошо, если одна. С одной управлюсь. С двумя будет труднее. Очень уж мало расстояние до леса, до нашего укрытия. Собаки пролетят его за считанные секунды, не дав возможности на два прицельных выстрела».

Преследователи были уже совсем рядом. Вместе с нетерпеливым лаем можно было слышать и голоса людей.

«Идет на поводке, — догадался Уповов. — Сейчас, как только заметят, где мы прячемся, спустят».

Прикинув к винтовке, он напряженно ждал, когда собака выскочит из-за деревьев и метнется в его сторону. Ждал и все-таки на какую-то долю секунды просмотрел. Из леса она появилась немного левее, чем Упоров предполагал. Пасть собаки была раскрыта, мускулистое поджарое тело с прижатыми к голове ушами хищно стлалось над землей, приближаясь с каждым мгновением. Упоров поймал на мушку серую широкую грудь овчарки и, сдерживая дыхание, выстрелил. Овчарка жалобно взвизгнула, несколько раз перевернулась через голову и осталась лежать на земле.

«Та-а-ак. Теперь уже легче. Надо только смотреть, чтобы они не зашли сзади».

Упоров перезарядил винтовку. Мельком глянув на солнце, отметил, что оно стояло еще высоко над землей, не доставая до вершин деревьев. До наступления ночи было не менее пяти или шести часов.

Не переставая следить за лесом, Упоров пересчитал патроны. Их было двадцать пять. Конечно, для многочасового боя такого количества мало, но все-таки это лучше, чем ничего.

На опушке леса слышались голоса, между деревьями замелькали фигуры людей, но Упоров не торопился стрелять. Сейчас он не имел права истратить впустую ни одного патрона. Он примерно представлял, о чем сейчас говорят, прячась за деревьями, преследователи. Со слов бородача-полицейского они, очевидно, были уверены, что беглецы не смогут оказать серьезного сопротивления. Раненый партизан, по их расчетам, едва ли мог держать в руках оружие. Прошку же они скорее всего всерьез не принимали. Неудивительно, что первый же выстрел, поразивший собаку, озадачил их и говорил, что легкой победы не будет.

Упоров выжидал, и, не видя его, не слыша его выстрелов, преследователи нервничали, то и дело высовывались из-за деревьев, о чем-то переговаривались, показывали руками на груды кирпича, из-за которых прозвучал выстрел.

Один из полицейских, прятаясь за ближайшим деревом, выглядывал особенно часто. После очередного упоровского выстрела любопытный полицейский исчез и больше уже не показывался. За деревьями слышались крики, ругательства.

— Эй, Прошка! Слышишь? — донеслось оттуда. — Брось дурить. Сдавайся. Твоему большевику терять нечего. Ему так и так конец. А тебя, может быть, простим.

— К тебе обращаются, — сказал Упоров. — Кто это? Не тот ли, что меня скрутил у стога?

Прошка не ответил, и Упоров не стал переспрашивать. Да и не до этого было. Со стороны леса по ним ударили сразу из нескольких винтовок. Пули распарывали землю у края траншеи, в которой прятались беглецы, высекали мелкие колючие брызги из кирпича, не давали поднять голову.

«Понятно, — подумал Упоров. — Кто-то хочет подобраться на бросок гранаты, а те из-за деревьев прикрывают его огнем. Тут надо не проморгать». Неожиданно позади траншеи у куч кирпича одна за другой разорвались две гранаты, обдав Упорова и Прошку пороховой гарью, мелкими кирпичными осколками.

«Вот гады! — удивился Упоров. — И когда успели обойти?»

Выглянув из-за укрытия, он увидел тех, что ползли от леса, их действительно было двое. И находились они уже совсем недалеко. Из винтовки их было не взять, те, что прятались за деревьями, не жалели патронов, и Упоров достал из кармана одну из гранат. Еще раз быстро взглянув и определив направление, швырнул гранату навстречу полицейским.

После взрыва некоторое время стояла тишина. Видимо, преследователи старались понять, живы ли те двое, что ползли навстречу партизанам.

— Ну, Прощка... Дорого ты за все это заплатишь! — снова донеслось из-за деревьев.

— Ага-а, — обрадовался Упоров. — Видно, достал я их. Взвыли, шакалы...

— Если через пять минут не сдашься, все трое — и старик, и Клава, и ты — будете болтаться на одной перекладине! — не унимался Хворостов. — Ты знаешь, я слов на ветер не бросаю.

Пока Хворостов кричал, стрельбы не было, и Упоров, выглядывая из траншеи, засек то место, откуда доносился голос, а потом увидел и самого Хворостова, сразу узнав его по черной бороде.

«Сейчас я тебя угощу. Я не Прохор и постараясь не промазать».

Чтобы стрелять наверняка, Упоров немного передвинулся ближе к куче кирпичей, отсюда было виднее. Пытаясь побороть наваливающуюся слабость, потер виски. Поудобнее устроил перед собой винтовку, приложился к ней... Он уже поймал на мушку черную бороду полицейского, но нажать на спусковой крючок не успел: глаза вдруг заволкло туманом.

«Плохо, — подумал он. — Теперь уж ясно, что никуда не уйти. Не смогу. Совсем раскис. К тому же шум подняли на всю округу. Скоро тут соберется вся полиция. Да и немцы прибегут. Не утерпят. Обложат, как волков, со всех сторон. Надо что-то делать. А то и сам пропаду и этого погублю», — глянул на Прощку. Тот тоже сделал два или три выстрела, но как-то суетливо, не целясь, и ясно было, что пули ушли в белый свет, как в копеечку.

Когда слабость немного отступила и в голове прояснилось, Упоров даже не сразу поверил в это. Повернувшись, он еще раз посмотрел на Прощку. Бледный, сжав губы и стараясь, чтобы рука не дрожала, тот тщательно целился в кого-то прячущегося за деревьями.

— Слушай, Прохор, внимательно, — спокойно, стараясь не показывать, что ему совсем худо, сказал Упоров. — Наших ты найдешь на кордоне за Мироновкой. Там глухие леса. Ты местный, знаешь, где это. Разущишь командира, расскажешь обо всем. Моя фамилия Упоров. Запомни: Упоров.

По лицу Прощки он видел, что тот ничего толком не понял, и, передохнув, пояснил:

— Я задержу полицаев. Патроны у меня есть. А ты отправляйся. Тут до самой дороги, до огородов трава, видишь, какая высокая. Бурьян. Можно проползти. Держи направление вон к тому мостику. Под ним проберешься на ту сторону дороги. Дальше там кустарник. Давай быстрее, пока они не взяли за нас по всем правилам...

— А ты? Как же ты? — охрипшим от волнения голосом спросил Прощка.

— А у меня с тем чернобородым еще разговор не окончен, — слегка усмехнулся. — Так что иди. Не теряй время. И не забудь: Мироновские леса. Ну, бывай, Прохор. Бывай!..

...Оставшись один, тщательно очистил перед собой место, достал из карманов патроны, чтобы находились под рукой. Необходимо было продержаться хотя бы с полчаса, чтобы дать Прощке возможность добраться до тех кустов за дорогой.

«Возможно, еще уйдет. Должен уйти, если захочет».

Он не оглядывался, не смотрел, как продвигается Прощка. На это у него не было ни сил, ни времени. Заметно осмелевшие полицейские переговаривались впереди, перебежали с места на место. Упоров не торопился, ждал. И дождался. Один из преследователей, показавшись из-за куста, поднял к глазам бинокль. Это была хорошая цель. Упоров выстрелил. Потом, когда наблюдатель исчез, выстрелил еще раз, уже по кусту, для верности.

— Все, Прощка! Кончилось мое терпение! — донесся из-за укрытия голос Хворостова. — С живого шкуру сдеру! Твоя песенка спета...

Упоров рассмеялся, мысленно похвалив себя за удачный выстрел. «Давай, давай, Хворостов, ори! Рви горло».

В уме он прикинул, что теперь Прошка уже должен добраться до мостика. Полицейские, конечно, ничего не подозревают. Иначе вели бы себя по-другому.

«Если бы еще минут десять, пятнадцать...»

Перед глазами снова все закачалось, поплыло, застелилось серой пеленой. В этой пелене Упоров не видел даже собственных рук, которыми сжимал винтовку.

В это время недалеко впереди взорвалась граната. И сразу же полицейские открыли ураганную стрельбу. Потом взорвалось еще несколько гранат, обдав Упорова комьями земли.

В промежутках, когда тупая, чугунная тяжесть в голове несколько ослабевала, он вслепую сделал два или три выстрела только затем, чтобы враги не подумали, что тут все кончено.

К счастью, приступ и на этот раз длился недолго. Боль, словно обручем сжимавшая голову, понемногу отпустила. Упоров вздохнул: «Значит, пока еще не конец. Еще смогу постоять...»

Огонь стих, и впереди появилось сразу несколько преследователей. На сей раз полицейские рассредоточились, обходя Упорова слева и справа, и те, что обходили его, намереваясь окружить, уже не прятались, бежали открыто. Среди бегущих был и Хворостов.

«Неужели промахнулся? Неужели эта сволочь уйдет от меня и на этот раз?»

Внезапно метрах в двух полыхнуло огнем, в груди, пониже шеи, резанула острая обжигающая боль, Упоров попытался сесть, чтобы перевязать рану, но тут же подумал, что, в сущности, это уже не имеет никакого значения. С трудом открыв глаза, посмотрел туда, откуда приближались враги, темные фигурки были уже недалеко.

«Пусть подходят. Очень хорошо, что они подходят».

И тут почудилось ему, что где-то мелодично звякнул малиновым звоном колокол и зазвенел, зачастил тугими медными ударами.

Упоров с усилием дотянулся до кармана, нащупал там оставшуюся гранату, однако смог достать ее лишь после второй или третьей попытки. Он знал, что времени у него осталось совсем мало, что надо спешить. Пальцы рук почти не слушались, предохранительную чеку пришлось вытаскивать зубами. Это было, пожалуй, самое трудное, и Упоров затих, давая себе отдохнуть, поджидая, пока подойдут те, из леса. С каким-то странным, горьким удивлением он думал сейчас о том, что время отсчитывает последние секунды. «Но почему последние? — мелькнуло еще. — Время же не останавливается...» Не остановится оно ни сегодня, когда Упорова уже не будет, ни завтра, ни через двадцать, ни через тысячу лет.

И ему стало легче от этой мысли, словно он вдруг обнаружил нечто такое, что давало ему, Упорову, какой-то шанс, и он постарается его не упустить... Он лежал ничком, зажав в руке гранату, навалившись на нее грудью, и не видел тех, кто приближался. Однако по голосам, по топоту ног чувствовал, что рядом кто-то уже находится, что вслед за ним подбегают другие, что их уже много, и наконец решил, что пора. Пора!

Собравшись с силами, он приподнялся и, торжествуя успе еще подумать, что победа в этом последнем в его жизни поединке остается все-таки за ним, уронил гранату под ноги собравшихся. Он видел только ноги... А взрыва он уже не услышал.



Игорь Михайлович Пантюхов родился в 1937 году на Кавказе. Долгие годы жил на Алтае. Окончил Барнаульский строительный техникум. Работал в краевых газетах. Служил на крайсере «Свердлов». Первый сборник стихов «Юность» в бушлате издан в Калининграде. Автор книг «Волнолом», «Морская почта», «Берег раздумий», «Моряна», «Лесные чудеса». Член Союза писателей СССР.

Игорь ПАНТЮХОВ

ТАМ, В ДВУХ ШАГАХ ЗА ЭКВАТОРОМ...

НА ЭКВАТОРЕ

Воздух приторно соленый,
Солнцем головы гудят.
Судовые «аполлоны»
Бочкотару шурудят.
«Аполлоны» медной плавки,
Только, правда,
без венков.
Синтетические плавки
Вместо фиговых листков.
Не спасают

фальшь укрытий,
вентиляторы,
вода...

Солнце замерло в зените
И, наверно,
навсегда.

Ни раздумий,
ни смтений —

Голова,
как головня.

И впервые нету тени
Ни во мне,
ни от меня...

НЕ ВЕРЬ!

Плынут облака над экватором,
И, словно ослабнув от ран,
Недвигимым лежит гладиатором
Забывшийся океан.

Десницу поднять не отважится,
Судам не пророчит потерь,
Но все это кажется,
кажется!

Не верь океану,
не верь!

Смотри, горизонты суровятся,
И звезды дрожат начеку...
Не спит океан,
он готовится,
Валы напрягая,
к прыжку.
Пока он у борта ласкается,
Спокойный, доверчивый зверь...
Но тронь — не успеешь раскатиться,
Не верь океану,
не верь!

КОРОЛЕВСКАЯ РАКОВИНА

*Памяти последнего комиссара
китобойной флотилии «Юрий
Долгорукий» С. Максименко*

Ты ее мне,
как солнце,
в руках протянул

Осторожно и нежно:
— Послушай...
И далекого шторма
Рассерженный гул
Вдруг ворвался раскатисто в уши.
Ты спокойно и щедро сказал мне:
— Возьми.

Вряд ли есть еще в мире такая...
Моряки до седин остаются детьми,
К драгоценностям не привыкая.
Я и сам

чудеса добывал за бортом,
Благо, рейсами бог не обидел.
Но такого,
Как этот янтарный бутон —
Слепок солнца! —
Я в жизни не видел.

Не жалея тропических красок, заря
Покрывала его перламутром...
Говорят,
Прячут души умерших моря
В недрах раковин

темных и мудрых.

Говорят...

Впрочем,

Мало ли что говорят!

Нам одно было ясно с тобою:

Двести раз

Нужно встретить

восход и закат,

Чтоб вернуться домой китобую...

Ты вернулся,

И мне это чудо принес —

Слиток моря,

И ветра,

И света.

Только я

Не тогда к нему сердцем прирос...

Впрочем,

Лучше не надо про это,

И про то,

Что ему нет цены на земле, —

Только нам по карману такая!..

Не по ценникам,

А по особой шкале

Проверяется дружба мужская.

А вчера...

Дикой вьюги пронзительный вой,

И из глаз уходящие крыши...

Телеграмме не веря,

Твой голос живой,

На жемчужину моря упав головой,

Я — единственный в мире — услышал...

НЕОКОНЧЕННАЯ ПАРТИЯ

И было сражение в самом азарте:

Ход белых — и черным каюк...

От сна,

домино,

неоконченных партий

Позвал нас динамик на ют.

К полуночи стрелки часов приближались...

В каюте,

оставшись одни,

Не белые с черными лихо сражались —

Со штормом боролись они.

Каюту валяло то вправо, то влево,

Ползли мы по курсу —

не шли...

Сначала легли на доске королевы,

Потом полегли короли.

Свалились слоны,

как слоны — без агоний,

Накрыли квадраты свои.

Цепляясь копытами,

падали кони,

Скользя, подрывались ладьи.

То с левого края,

то справа без спешки

Срывались фигуры с доски,

И только,

столпившись,

не падали пешки

Законам игры вопреки.

Нет, дело не в том,

что толпа — это сила!

С другого найдите конца:

Тем пешкам с рождения выдано было

Немножечко больше свинца...

КАК РАССТАЮТСЯ КОРАБЛИ

«Расстанемся, как в море корабли...»

Тот, кто сказал впервые эту фразу,

По-моему, вочию ни разу

Не видел,

как далеко от земли

Встречаются, сближаются суда —

Медлительно,

степенно,

осторожно.

Со стороны подумать даже можно —

Им встречи не хотелось никогда.

Зато потом их не остановить,

Когда,

друг к другу потянув швартовы,

Они в порыве радости готовы

В объятиях друг друга раздавить.

Наперебой

с рассвета дотемна,

Захлебываясь ветром,

стонут снасти,

И, то взрывая,

то смиряя страсти,

Между бортами мечется волна.

Для них вот-вот разлуки миг настанет:

Они спешат подробно обсудить,

Как в трудный час

друг друга находить

В бескрайнем

и бездушном океане.

Им достоять хотя бы до утра,

Им досказать хотя бы два-три слова,

Но тяжко опускаются швартовы,

Услышав неизбежное:

«Пора!»

Пора!..

И, набирая обороты,

машины захлебнуться норвят,

Суда еще не движутся,

стоят,

Они еще надеются на что-то.

А сводница-разлучница волна
Расталкивает их неумолимо...
Не в эти ли секунды седина
На тросы опускается незримо!
Расходятся в молчаньи...
Но пока
им стаи волн не бросились навстречу.
Как обещанье,
как пароль на встречу,
Они дают друг другу
три гудка,
И замирают голоса вдали...
Сведет ли вновь
судьба когда-нибудь их!..
Непросто расстанутся корабли,
Чего уж говорить о нас,
о людях!

ПИРАТ

Ну какой же ты Пират!
Так ли, этак погляжу ли,
Ты по всем приметам, брат,
Не пират, а мелкий жулик:
Хвост — баранкой,
Грудь — картонкой,
Ухо — вверх,
И ухо — вниз...
Видно, твой отец с болонкой
Где-то без любви сошлись.
Хоть бы шириь раздался малость,
Шерсть да кости —
Худоба...
И судьба тебе досталась —
Незавидная судьба.
Не жильца уже по сuti
Боцман выловил тебя
В стылой гавани,
В мазуте...
Живность всякую любя,
Обернул брезентом старым:
«Согревайся, дуралей,
Оклемаешься — оставим,
В море будет веселей...»
Месяц ты не поднимался,
Все скулил,
Не пил,
Не ел...
А глядишь — и «оклемался»,
Отошел,
Повеселел.
К новой жизни привязался,
Как капроновым шкертом...
Да чуть-чуть не оказался
Вдруг вторично за бортом.
Видно,
судно зная худо,

Влез за кем-то по пятам
В рубку...
— Что за чудо-юдо! —
Удивился капитан.
— Да вот так, —
замаялся боцман, —
За два дня до рейса
Взять его в воде пришлось, мол,
Поживи, погрейся...
— Боцман, брать собак на флот —
Нету разрешения!..
Ну, да это пусть живет
Недоразумение...
Первый рейс всегда велки —
Выстоял ты, сник ли,
Но глядишь — и пес привык,
И к нему привыкли.
Снасть матросы мастерят —
Вдруг из самой снасти
Катится клубком Пират:
«Как рыбалка! Здрассте!..»
Приглашают всех в салон
На обед, на ужин,
Раньше всех в салоне он:
Зов ему не нужен!
Сigaretами дымят
Моряки на баке —
Тянет кто-то из ребят
«Закурить» собаке.
И, представьте, страшно рад,
Будто бы конфету,
Смачно изжует Пират
С фильтром сигарету.
Да не пес — аристократ!
Вкусы — дело личное,
Он не все берет подряд,
А одни «Столичные»!
Хохот, гам:
— Ну, сатана!
Дал же бог находку!..
— Эй, Пират! Налить вина?
— Не-ет, он больше — водку!..
Так проходят день за днем,
Пес наш не скучает.
Все души не чают в нем,
Он во всех не чает.
Ну а если занемог
Кто-то вдруг по дому,
Молча ляжет пес у ног:
«Ну чего? Чего, мол!
Перебьемся как-никак,
Поживем куда...»
Улыбнется тут моряк:
«Эх ты, чудо-юдо...»
И развеялась печаль,
Уплыла куда-то,
И уже немного жаль
Одного Пирата...



Людмила Козлова родилась в г. Никольске Вологодской области. Долгое время жила, училась в с. Солоновка Смоленского района на Алтае. В 1971 году окончила Томский университет. Инженер-химик. Многие стихи опубликованы в альманахе «Алтай». В 1981 году в Алтайском книжном издательстве выходит первый сборник. Живет в Бийске.

Людмила КОЗЛОВА

ИЗ ПЕРВОЙ КНИГИ

22 ИЮНЯ

Тополинный пух
невесом.
Весь зеленый луг
занесен.

До утра звенел
чей-то смех,
женский голос пел:
«Снова снег...»

И летел июнь
под откос...
Много тысяч лун
пронеслось.

Но июню вновь
не срастись.
Слева — смерть и кровь,
справа — жизнь.

Пулей лист пробит
над тобой —
снова бой кипит,
первый бой.

ПАМЯТЬ ДЕТСТВА

Нет особенного счастья,
но оглянешься назад —
и твоею доброй властью
видишь яблоневый сад.

Видишь узкую тропинку,
уходящую в лесок,
утра алую росинку,
солнца красного кусок.

Видишь милое окошко,
кособокое крыльцо,
счастья полное лукошко,
детства ясное лицо.

ИЮНЬСКИЕ СБОРЫ!

Как в Сахаре жара.
Обжигающим зноем
ветер с юга.

Пора
распрощаться с покоем.

Слышишь — трубы трубят,
слышишь — рельсы запели.
Поцелую тебя
в тополиной метели.
И пронзительно-нервно
в сердце вклинится боль:
как бы там —

в сорок первом —
я простилась с тобой!

Мы — витающий вечно
дух прекрасной земли!
Мы — цветущая греча,
подорожник в пыли.
И я помню — когда-то,
сто столетий назад
я душистою мятой
украшала твой сад.
И я так же любила
зорь калиновый свет,
и тебя излечила
от болезней и бед.



Василий Федорович Куликов родился в 1912 году в г. Ногинске Московской области. В 1930 году окончил 6-ю школу-девятилетку в Барнауле и до 1954 года (исключая годы Великой Отечественной войны, участником которой он был) работал учителем на Алтсе. В январе 1941 года заочно окончил Томский пединститут. В альманахе «Алтай» № 3 (1949) была напечатана повесть В. Куликова «Маргарита Васильевна». Публиковался в периодической печати. Живет в г. Ставрополе.

Василий КУЛИКОВ

ТРИ РАССКАЗА

ГАЛЯ ВНЕШТАТНАЯ

Начальник санслужбы артиллерийского полка не стала перебинтовывать Михеева, только спросила:

— Кость перебита?

— Не знаю.

— Пошевелите пальцами.

Правая кисть, как лапа у мертвой курицы: такая же синяя и так же безжизненно стянута к запястью. Как Михеев ни старался ими пошевелить, пальцы не шевелились.

— Значит, перебита, — заключила начальник санслужбы и стала заполнять какой-то медицинский бланк. Михеев болезненно поморщился не от физической боли, угнетало невезение: год в училище, полтора года на формировке, наконец долгожданный фронт, и вот на тебе, готов, инспекся. Это ведь надолго, если кость перебита...

Пожилой штабной водитель отвез его на «додже» в полуразрушенную белорусскую деревушку Залье — ближайший полевой госпиталь. Распрощались трогательно, как отец с сыном. В горле запершило. Однотопчане. Щурясь от яркого июньского солнца, Михеев долго наблюдал, как, взвихривая пыль, «додж» помчался в сторону фронта, становясь все меньше и меньше, пока не скрылся в ближайшем лесу. Последняя тонюсенькая паутинка, что связывала его с родным полком, оборвалась. Внутри у него тоже что-то оборвалось. Как-то пусто стало внутри. Пусто и тоскливо.

— Больной, идите в баню.

Оглянулся. «Больной». Это показалось ему оскорбительным, как деревенские прозвища: «корявый», «рыжий», «кривой». Занятый своими невеселыми мыслями, покорно поплелся за девушкой, не замечая на себе любопытных взглядов. Даже наблюдательный пункт для командира полка не успел закончить. «Взжик!» — и заворачивай обратно. Хорошо, что в тыл. Мог бы завернуть и подальше...

В обыкновенной деревенской избе, приспособленной под баню, было тепло и чисто. Пахло выскобленными, хорошо вымытыми полами, распаренными березовыми вениками.

— Больной, вас помыть или вы... сами?

— Сам, сам, — поспешно ответил Михеев, думая о своем: «Неужели кость перебита?»

— Тогда я только наведу вам воды.

— Не беспокойтесь, я сам.

— Хорошо, сами так сами, — девушка по-хозяйски оглядела баню, словно проверяя, все ли на месте. Она все же начерпала из кадочки в тазик горячей воды, добавила из ведра холодной, размешала. Стоя к нему спиной, ласково посоветовала: — Больной, мойтесь потихоньку. Вы у нас пока один, так что можете не торопиться. — Вышла, тихо прикрыв за собой дверь. Михеев усмехнулся невесело: «Заладила, как попугай: «больной, больной». С каких это щей я больной? Отродясь ничем не болел. Раненый, а не больной. Большая разница».

Однорукое мытье подвигалось туго. Мыло — большой кусок хозяйственного — то и дело выскальзывало. Темно-коричневое, каменно-твердое, заплесневелое, оно тяжело грохалось на пол и потом каруселило по мокрому полу до самой стены. «Щедры, когда не надо, — ворчал Михеев, — можно было дать восьмушку, хватило бы за глаза». Вспомнился забавный случай в училище. В соседней батарее положили в санчасть старшину и временно замещать его поставили сержанта Михеева. Михеев перестал ходить на ненужную, по его мнению, на фронте химподготовку. Как-то вызывает его командир дивизиона, интеллигент и умница, которого курсанты любили за справедливость и юмор, и вкрадчиво спрашивает:

— Старшина, что такое ВХД?

— Военно-химическое дело, товарищ майор! — отчеканил Михеев.

— Нет, — качнул лысеющей головой майор. — Весьма хреновое дело. Двойка по ВХД, старшина! — майор уставился на Михеева, будто спрашивая: «Разве тебе это неизвестно?»

— Привет Шишкину! — опешил Михеев.

— Чтоб через пять дней снова висел на доске отличников.

— Слушаюсь, товарищ майор...

Вернулся Михеев в каптерку, сел за стол, запустил пятерню в свой роскошный русский чуб и думает: «Кто ж, такой-сякой, зафугасил мне двойку?» Нового преподавателя ВХД Михеев ни разу не видел. Вдруг кто-то постучал в каптерку.

— Да, — мрачно ответил Михеев, полагая, что кто-нибудь из курсантов попросит сейчас разрешения слазить в свой чемодан за домашними печенюшками, за табаком. Вошел молодой незнакомый капитан. У Михеева сердце так и екнуло: «Он!» Потому что всех других офицеров училища он знал, а этого еще не видел. Значит, он и есть ВХД.

— Здравствуй, старшина!

— Здравия желаю, товарищ капитан! — Михеев вскочил со стула.

— Старшина, выручай... Стирать нечем. — Он даже смутился слегка. — Жена загрызла.

Ни слова не говоря, Михеев достал из шкафа и подал капитану кус мыла.

— Спасибо, старшина! Не знаю, чем тебя и отблагодарить...

— Есть чем, товарищ капитан, — загадочно ухмыльнулся Михеев. — Исправить двойку по ВХД... — Сказал и виновато скребнул в затылке. — Понимаете, товарищ капитан... В третьей батарее есть курсант Михеев. Он не ходит у вас на ВХД. Так это я. Там я курсант, а здесь врио старшины. Понимаете?

Выражение лица у капитана было такое, что Михееву стало жалко его. Понял, что сделал глупость, но исправить ошибку было уже нельзя. Сказал себе в оправдание:

— Командир дивизиона дал мне сегодня чесу за эту двойку. Приказал, чтоб через пять дней снова была пятерка. Я, конечно, подготовлюсь и сдам, товарищ капитан, но... Запурхался я тут с новыми старшинскими обязанностями...

— Можешь доложить капитану, что снова пятерка, — сказал капитан, сунул мыло за пазуху и быстро вышел. «Балда! — обругал себя Михеев. — Зачем сказал про двойку? Нехорошо получилось».

А потом, что же дальше? Потом он извинился перед этим капитаном... — вспомнил Михеев. И не слышал, как появилась перед ним боящая девочка лет четырнадцати в зеленом ситцевом платье с короткими рукавами, схватила с табуретки намыленную мочалку и начала старательно тереть ему спину. Сразу зачесалась вся спина, но девочка каждый раз, словно угадывая, терла именно там, где чесалось сильнее. Михеев блаженно выгибал заалевшую спину. «Вот тут, тут, во-во, ах, хорошо!» — мысленно похваливал он, чувствуя, как горячая мыльная пена, пузырьясь и шипя, скатывается по спине.

— Ты кто ж такая? — спросил он, держа забинтованную правую руку локтем выше головы.

— Санитарка.

— А почему без халата? — посмеиваясь, искоса глянул на нее.

— Не положено, — сразу как-то поскучнела она. — Я внештатная.

— Как — внештатная?

— Так. Пристала к одной санчасти, меня прогнали. Я к другой пристала, опять прогнали. Ну вот... а потом я сюда. Здесь начальником женщина, молодая, добрая, может, не прогонит.

— Так ты что, из дома, что ли, сбежала?

Она утюжила мылом мочалку на табуретке обеими руками и возмущалась:

— Этому мылу в обед сто лет. Нож не берет, а топором — вдребезги, как стекло. Откуда его только выкопали?

— Ты не ответила на мой вопрос.

Окинула его сбоку настороженно-пытливым взглядом.

— Скажу вам правду, товарищ лейтенант, но только по секрету.

Лады?

— Слово офицера.

— Не из дома, а из детдома.

Оглянувшись, уловил краем глаза раскрасневшееся загорелое лицо с веселыми карими глазами, с едва заметными, словно выцветшими конопущками на остреньком носу. Тоже тоном заговорщика, тихо, почти шепотом, спросил:

— Зачем же ты это сделала?

Горячая мочалка опять загуляла по спине.

— Помогать вам, нашим героям. Вы вот одной рукой долго бы мылись, да и не так бы вымылись, как я вас вымою. А до спины вы и вовсе не достанете. Конечно, это маленькая помощь, вот была бы я медсестрой! Ох, товарищ лейтенант, товарищ лейтенант, как мне хочется стать фронтовой сестрой! Я раненых с поля боя на себе выносила бы...

— Но ведь на фронте могут убить или, того хуже, изувечить. Останешься без рук, либо без ног, либо без глаз. Тебя это не пугает?

— Пугает, конечно, товарищ лейтенант, но если все мы будем бояться, то кто же одолеет Гитлера?

— Так-то так, девочка, но тебе все-таки рановато воевать, тебе еще надо учиться да учиться. Кстати, а где твои родители?

— Погибли. В сорок первом при эвакуации. Пока я бегала по городу, чтобы купить что-нибудь покушать, наш эшелон разбомбили...

Бросила мочалку на табуретку, выплеснула на красную спину ковш чистой воды, стала тереть ее шершавой ладошкой. Спина заскрипела.

— Не спина у вас теперь, товарищ лейтенант, а кочан капусты! — Поставила тазик на пол, подоткнула подол платья под черные, на резинках, штанишки, встала перед ним на колени.

— Теперь давайте ноги.

— Ноги я сам! — стыдливо ужимаясь, сказал Михеев почти строго.

— Нет, нет, вы так не суместе одной рукой, — бесцеремонно начала тереть ему ноги, продолжая в то же время щебетать: — Вы не стесняйтесь, пожалуйста. Нас, медиков, стесняться не приходится. Я же все равно буду присутствовать на операции. А на операционный стол вас в

белье не положат, прикажут раздеться догола. Теперь уж не вы будете командовать, а мы.

— Ну, ну, командуйте, — покорно прогудел Михеев, наблюдая, как она проворно работает. — Я на все согласен, лишь бы скорее свернуть Гитлеру шею.

— Чтоб его на том свете черти на сковородке поджарили! — выпалила санитарка. Стоя на коленях, она отчаянно терла раненому пятки, твердые и черные, как чугуны. За кончик ее веснушчатого носа зацепился шматок мыльной пены — в азарте работы она не замечала этого.

— Теперь давайте голову.

— Как тебя зовут?

— Галя.

Михеев по-стариковски крикнул и надолго замолчал. В горле будто старый заплесневелый сухарь застрял. Застрял и не проходит. Стоя за его спиной, Галя, намылив, отважно крутила ему голову. Тяжелые шматки пены шлепались на мокрый пол, как лягушки в болото.

— Галя, — сиплым, не своим голосом попытался шутить Михеев. — Ты решила свернуть мне шею раньше, чем Гитлеру? За что?

— Что вы, товарищ лейтенант! — засмеялась Галя. — Вы наши защитники, наши герои. Вот была бы я медсестрой! Почему я не родилась чуть-чуть раньше?

— Галя, а у меня есть сестренка, тоже Галочка. Такая же кареглазая и такая же умница, как и ты. Твоя ровесница...

— Какой вы счастливый! У вас есть родные...

— Так у тебя что, вообще никого нет?

— Никого. Все погибли в той бомбежке. Бомба прямо в наш вагон угодила. Вот и все. Сейчас окачу — и можно идти в операционную. Врачи у нас хорошие, вы не беспокойтесь.

— Я не беспокоюсь, ранение у меня пустяк...

Прохладный водопад обрушился ему на голову, пустой таз звонко скрежетнул по полу, сухое мохнатое полотенце заелозило по голове, по шее и спине, по левой руке. Михеев терпеливо помалкивал. Надела на него чистую рубашку с длинными тесемками, похожими на макароны, объявила:

— Все, товарищ лейтенант! — и шлепнула его по спине.

— Спасибо, Галочка. Как говорится, дай бог тебе здоровья.

— На бога надейся, а сам не плошай, — напомнила она и вмиг отвернулась, когда он протянул руку за кальсонами.

— Точно, Галочка. Под лежащий камень вода не течет, это верно.

— Брюки надевать не надо, товарищ лейтенант. Отсюда прямо в операционную.

Под наркозом Михееву обработали рану (сквозное осколочное ранение правого предплечья). Из операционной все та же Галя привела его в палату, где пока никого не было. В уютной крестьянской горенке стояло восемь аккуратно заправленных белоснежных коек. В открытые окна заглядывали из палисадника ветки пышно распутившихся тополей и ветел. Сквозь их листву июньское солнце плело на белых простынях блеклые кружева. В стеклянных банках на подоконниках тонким ароматом курились свежие ландыши. Запахло родной деревней Селищи в Калининской области. Стоит она на высоком холме. Кругом лес с ягодами, грибами, орехами, а под холмом — тихая, чистая, прохладная Нерль. Такая чистая, что с мостика видно, как плавает по дну рыба. Бывало, в детстве, голышом, с разбега, с высокого берега, как снаряд, воткнется в речку вниз головой и, гогоча, любуясь вспыхивающей в брызгах радугой, кувырается и полощется в прозрачной, серебристо-звонкой воде, пока, посиневшего, мать хворостиной не загонит домой. А вечером, на закате, любил посидеть на речке с удочкой.

Всего несколько часов назад Михеев прижимался под взвизгивающими минами к земле, и вот уютная палата с нежным запахом ланды-

шей. Тишина. Покой. Было радостно и грустно одновременно. Радостно, что жив, и, стало быть, не все еще потеряно. Грустно, что расстался с друзьями-однополчанами, с едва начавшейся фронтовой жизнью. Удастся ли попасть обратно в свой полк? Ведь это надолго, если кость перебита. Но перебита ли? Начальник санслужбы не стала даже перебинтовывать, только спросила: «Кость перебита?» И записала, что перебита. А может, она вовсе и не перебита.

Попросил есть (не ел двое суток). Галя сказала, что кушать после наркоза не рекомендуется, вырвет, к тому же, кроме гречневой каши и черного хлеба, пока ничего нет, но уже варится и скоро будет.

— Все равно давай, Галочка, иначе я съем тебя, как съел Серый Волк Красную Шапочку.

Поел вволю. Возвращая Гале посуду, сказал:

— Спасибо, Галочка. Теперь можно и на боковую. После хлеба-соли шесть часов воли: час спать, два лежать, три часа парапаться.

— Ого! — засмеялась Галя.

— Да, да, Галочка, не смейся. Кто после обеда не отдохнет, у того правая холка отсохнет, а кто полежит, с того сало побежит...

Галя прыснула и, звеня алюминиевой посудой, выбежала из палаты.

Вечером привезли еще троих раненых. У одного из них, Короедова, родом из Гусь-Хрустального, была перебита нога, он кричал на сестер и нянечек, а те при всем своем желании никак не могли угодить ему: то подушка казалась ему жесткой, то ему мешал свет, то ему было душно, и он требовал открыть окно, хотя все окна и без того были открыты, то питьевая вода казалась ему вонючей, зачерпнутой якобы из болота, и он выплескивал ее за окно, говоря, что нянечкам лень сходить за чистой водой к колодцу. Михеев проснулся и долго наблюдал за его фокусами. «Вот как мучаются люди, когда кость перебита, — думал он. — А у меня рука только чуточку ноет. Значит, ошиблась начальник санслужбы, цела у меня кость!» Галя принесла горячий мясной суп. Михеев съел тарелку и попросил еще. Хотел попросить третью, но постеснялся и снова уснул. И спал до утра — крепко, по-фронтовому, без сновидений.

* * *

Проснулся от землетрясения. Весь дом содрогался от сильных колебаний, они больно отдавались в пробитой руке. Стекланные банки с ландышами подпрыгивали на подоконниках. Все, что лежало на тумбочках, вздрагивало, подпрыгивало и падало на пол. Ручные часы Михеева упали с тумбочки и тоже плясали на полу. Поднес их к уху — не тикали. «Наверное, сломалась ось маятника, — подумал он с сожалением, но тут же забыл об этой маленькой беде, охваченный чувством огромной радости: — Артподготовка! Наши пошли в наступление!»

Короедов кричал, требуя, чтобы его не трясло. Сестры и нянечки подкладывали под него подушки.

Сунув ноги в тапочки, Михеев выбежал на крыльцо. На западе, за темной кромкой леса, свирепствовала яростная, гигантская молотьба, сотрясавшая землю на многие километры. Стальной ураган!

За слезы наших матерей
Огнем тяжелых батарей,
За нашу Родину огонь, огонь!

Справа что-то мельтешило. Повернул голову. В двухстах метрах от него по грунтовой, влажной от росы дороге текли на северо-запад войска вторых эшелонов. Серой лавиной текли и текли войска через обширное зеленое поле, похожее на футбольное — с такой же ровной, яркой, бархатной травкой. Правее этого изумрудного поля, зигзагообраз-

но врезаюсь роскошными кронами в голубое небо, возвышалась могучая дубовая роща, от которой веяло утренней прохладой, вечным покоем, сладкими воспоминаниями счастливого детства. Пехотинцы больше молодые, но бывалые, с орденами и медалями на гимнастерках. Глядя под ноги, идут быстро, спешат. Лошади, запряженные в двуколки, энергично машут головами. И все это в величественном безмолвии: гром артиллерийской канонады заглушал все остальные звуки. От всей этой безмолвной картины веяло мощью, гордым величием. Сойдя с крыльца, Михеев заспешил к войскам. «Уеду с ними», — мелькнула мысль. Он чувствовал себя неплохо, рана после обработки не беспокоила (кость, стало быть, не перебита!), через неделю пустяковая дырка затянется в полковой санчасти. Начальнику санслужбы доложит: «Сделали операцию, кость не перебита!»

— Товарищи, возьмете меня с собой? — крикнул он пожилым солдатам в кузове полуторки.

— Давай, сынок, давай, места всем хватит! — весело отвечали усатые интенданты. В это время сзади кто-то осторожно, но крепко взял его под руки.

— Больной! А ну марш на место!

Ну конечно же, это вездесущие сестреночки, сразу две.

— Сестреночки, да что вы в самом деле? — попробовал он отшутиться. — Налетели, как на жулика. Передам привет однополчанам, только и всего.

— Больной, вы нам голову не морочьте, — упрямо твердили физически сильные девушки, по-прежнему крепко держа его под руки. — Знаем мы эти приветы. У нас уже был такой дезертир. Давайте на место, больной!

«Больной, больной», — в который раз подосадовал Михеев, провожая полуторку с усатыми дядьками взглядом пассажира, отставшего от поезда. Справа по колонне, до самого леса, из которого колонна вытекла, машин не было видно. Колыхаясь, как на волнах, наплывала одна только матушка-пехота. Неожиданно перед Михеевым выросла уже знакомая ему фигура девушки-врача (вчера она делала ему операцию, она же была и начальником госпиталя). Она тяжело дышала, лицо ее было красным и сердитым, словно Михеев украл у нее кошелек с деньгами — и вот... попался.

— Больной, как вам не стыдно?

— Я здоров, как бык, а вы долдоните все одно и то же: «больной, больной», будто я прокаженный какой! Я раненый, а не больной!

— Если здоров, идите, я вас выпишу, а партизанить нечего... У нас никогда не было таких скандальных больных, как вы и этот... гусь хрустальный.

Михеев долго и оторопело глядел на девушку.

— Эх, товарищ начальник! — выдохнул наконец. — Не ожидал от вас. Лучше б вы зарезали меня вчера в операционной...

Подбежала Галя внештатная, взяла его за руку, сказала умоляюще:

— Идите, товарищ лейтенант. Ну пожалуйста. Вам нельзя сейчас на фронт. Сквозные раны заживают долго. С фронта все равно вас завернут обратно, напрасно время потеряете. Ну пожалуйста, товарищ лейтенант...

В карих глазах ее сверкнули слезы.

Михеев понуро поплелся к госпиталю, то и дело оглядываясь на войска, текшие на запад, где по-прежнему гудело мощно и радостно. Он остался курить на крыльце. Из палаты доносились сердитый голос Короедова и ласково-умоляющий голос Гали. Михеев заглянул в палату. Красная, как кумач, Галя мучилась с Короедовым, который капризничал тем несноснее, чем больше ему угождали. Михеев взял юную санитарку за руку и вывел на крыльцо: «Не стоит он этого...»

Раннее июньское солнце поднялось уже довольно высоко. Зеленое поле заиграло, заискрилось еще ярче. Оно радовало глаз такой целомудренной чистотой, такой дивной свежестью, веяло таким родным домашним покоем, так взывало к жизни, к счастью, что никак не вязалось с мыслью о войне, о смерти. Подул ветерок, освежая солдатам мокрые затылки и потемневшие под скатками спины. Но, глядя в землю, по-прежнему шагали они энергично, сосредоточенно, в ногу. Галя наблюдала за Михеевым. Тоскливым взглядом провожал он солдатский поток.

— Товарищ лейтенант! — тронула его за руку. — Слышите? Пора завтракать. Лады? — Она, как всегда, была в отличном настроении.

— Какая разница, где носить летом руку на марлевой повязке: в госпитале или на фронте? — вдруг заговорил Михеев, продолжая глядеть на солдатский поток. — Служу я не в пехоте, а в корпусной артиллерии, живу в землянке в нескольких километрах от линии фронта. В атаку не хожу, руками ничего не делаю. Даже если бы совсем не было у меня руки, ничего бы не изменилось. Для того чтобы выкрикивать команды, рука не нужна. Врачи как себе представляют фронт? Как сплошной бой, где все время стреляют, непрерывно ходят в атаку и даже сходятся врукопашную. Конечно, в пехоте бывает и так, но ко мне это не относится. Я и в бою могу командовать своими орудийными расчетами, как и в часы затишья. Для этого нужны не руки, а глотка, понимаешь ты это, Галя, или нет? Буду ходить в санчасть на перевязку — и все. Зачем ради пустяковых перевязок тащиться в тыл за сотни километров? Какой смысл?

— Ох, товарищ лейтенант, товарищ лейтенант, сразу видно, что вы ранены впервые. Вот позавтракаете, я вам растолкую, как вы не правы. Я уже кое-что смыслю в этом деле. Идемте!

Михеев съел два завтрака и попросил третий. Плохое настроение не влияло на его аппетит. Когда Галя убрала посуду, напротив Михеева, на краешек койки, села начальник госпиталя в военной форме, без халата. На погонах две маленькие звездочки — тоже лейтенант. На ноге маленькой гимнастерке играл бликами орден Красной Звезды.

«Похоже, вырядилась ради беседы со мной, — разгадал ее замысел Михеев. — Дескать, мы тоже не лыком шиты, товарищ лейтенант. Вот видишь, уже награды имеем, а у тебя пока нет ни одной. Так что, товарищ лейтенант, не задавайся, не заносись. А если сторяча и обидели чуточку, так уж извини, пожалуйста».

— Ну, как? Будем мириться? — подкупающе улыбнулась она одними карими глазами. — Я беру свои слова обратно.

Он подал ей левую руку. Она пожала ее обеими шершавыми руками, пахнувшими хлороформом.

— А как эта? — кивнула на забинтованную правую на марлевой повязке через шею.

— Нормально, — сказал с оттенком упрека. — Через неделю затянулась бы в полковой части. На мне все быстро заживает, как на собаке.

Встала, потрясла его за чуб.

— Большой ребенок. Если кость перебита, то вы вообще отвоевались, дорогой мой.

— Вы с ума сошли?

— Я — нет, а вот вы сегодня намерены были это сделать.

— Сядьте, — тронул ее за руку.

Села на прежнее место, натянула руками диагональную юбку на сомкнутые круглые колени. На лбу — челка. Над верхней губой черные усики. Деловая, строгая.

— Скажите, товарищ начальник, что это за девочка работает у вас санитаркой?

Посмотрела на него настороженно, стараясь понять, с какой целью он спрашивает о девочке? Какое ему до нее дело? И почему так под-

черкнуто официально: «Товарищ начальник»? Со снисходительной иронией это сказано (начальник, а делает глупости) или с благожелательным почтением к ней? Решила не придавать вопросу о девочке серьезного значения.

— Приблудная, — усмехнулась она, сразу похорошев. — Между прочим, очень старательная. Видите цветы на окнах? Ее рук дело.

— Почему же вы не зачислите ее в штат? — Михеев сказал об этом, как о пустяке, само собой разумеющемся. Девушка в свою очередь посмотрела на него с недоумением: как можно?

— Ей всего тринадцать. Это она такая рослая. Мы не имеем права зачислять в штат детей. А она говорит, что родители у нее погибли, а если они живы?

— Честь и хвала им за Галочку.

— А если ее убьют?

— Но ведь ее могут убить и внештатную. Ах да, понимаю: за гибель внештатной вы отвечать не будете. Закопаете и аминь. Так?

Потупясь, девушка некоторое время молчала. Смуглые щеки заметно розовели.

— Да! — безнадежно покачала она головой. — Как ни жаль, а придется с ней расстаться.

Михеев хлопнул себя левой рукой по колену.

— Привет Шишкину! Это почему же? Ведь она все равно домой не поедет, будет мыкаться по фронту в поисках другой санчасти. Пользы ни себе, ни людям, а возможность погибнуть та же, если не больше. Так пожалейте ж сироту, у вас ведь женское сердце! Метрики у нее пропали во время бомбежки. Напишите ей шестнадцать — и делу конец. Кто без метрик докажет, что ей меньше? Да и кому это нужно сейчас — доказывать? Уже три года воюем, вчера четвертый пошел, а вы все еще живете по инструкциям мирного времени: «Ах, как бы чего не вышло». Ублажать гуся дри... гуся хрустального — тут она у вас взрослая, а как денежное довольствие получать — ребенок. Справедливо?

Девушка покачала головой. Михеев встал. Возвышаясь на подушках, Короедов по-прежнему требовал, чтобы его не трясло. Михеев вышел на крыльцо, закурил и с чувством гордости стал смотреть на запад, где все еще гудело мощно и радостно. Небо там затянуло белесой пеленой, словно оно накалилось там добела. Попытался представить, что творилось сейчас в его родном гаубичном полку. Голые по пояс огневики, с лоснящимися от пота бронзовыми телами, в дыму, грохоте и пыли посылают немцам снаряд за снарядом. А что делает сейчас командир полка в недостроенном НП с одним накатом? Может, разведчики все же успели закончить наблюдательный пункт до артподготовки? Едва ли. Темного времени всего два часа. Заря с зарей сходится. А бревна надо таскать на своих плечах по хлюпающим жердям, проложенным через болото. В полукилометре на запад от болота — холм, на нем деревушка Раковичи, черная на фоне голубого неба, словно вырезанная из черной жести. Скелетообразные тополя без листьев по-нищенски, с мольбой тянут к небу скрюченные руки-сучья. В деревне — немцы. Бьют по болоту, как только заметят на нем малейшее движение. При Михееве успели за короткую ночь сделать один накат, а надо минимум три. В пять утра началась разведка боем, пехотный батальон пошел в атаку, противник открыл сильный огонь. С бычьим мыком полетели над болотом снаряды от «скрипача». Хлынул дождь. Михеев стоял на своем НП и принимал от разведчиков бревна. Тут осколок и пробил ему руку. Весь день текли войска по дороге на Бобруйск. Уже стемнело, а им все еще не было конца. Вечером на крыльцо выбежала Галя в белом халате и белой косынке. Карие глаза ее светились счастьем.

— Меня зачислили в штат! Спасибо вам, товарищ лейтенант!

— За что?

Погрозил пальцем.

— Мне Клавдия Ивановна все рассказала. Говорит: «Иди, целуй своего заступника». Спасибо вам, товарищ лейтенант.

— Не за что, — буркнул Михеев. «Ему сейчас не до меня, — подумала Галя. — Целый день все о чем-то думает...»

— Вы на Клавдию Ивановну не обижайтесь, товарищ лейтенант. Это у нее случайно получилось. А вообще-то она добрая. Она боялась, как бы вы не сбежали. У нее уже был такой случай, и ей за это влетело.

— Успокойся, мы помирились с Клавдией Ивановной. Гляди, — кивнул в сторону дороги, на войска. Теперь, в темноте, войска были плохо видны, но зато хорошо было слышно. Урчали моторы, скрипели повозки, фыркали кони, гудела земля под сапогами тысяч солдат.

— Галя, — торжественно сказал Михеев, и девочке показалось, что голос у него дрогнул. — Гляди и запоминай. Запоминай, Галочка, запоминай. Будешь рассказывать детям и внукам, как 24 июня 1944 года наш первый Белорусский пошел в наступление.

...В ту ночь Галя долго стояла на крыльце в белой косынке, стройная, как свечечка. Свежий восточный ветер колыхал полы ее чистенького халата. Сегодня весь день она подгоняла по своей фигуре, потом выстирала его, высушила и старательно гладила, словно подвенечное платье. Уже все разошлись спать после тщетных поисков Михеева, а она все еще глядела на огненный запад, откуда доносился гул удалявшегося боя и куда все-таки сбежал лейтенант Михеев.

ОБГОН

Небо наглухо закрыто черными тучами. Порывистый ветер. То крупнокалиберный дождь, то снежная крупа. На асфальте тягучая клейкая жижа. Будь асфальт свободен, можно бы и по такому киселеобразному месиву мчаться на «студебеккерах» с приличной скоростью, но вся автострада запружена артиллерией в восемь рядов. Справа — Восточная Померания, еще не очищенная от гитлеровцев, слева — до самого горизонта вытянулись советские артиллерийские колонны, ежесекундно намеревающиеся как-нибудь втиснуться в общий поток. Всем хочется скорее достичь Одера.

На «студебеккере», где сидел Михеев, произошла какая-то заминка с мотором. Мотор чихнул и заглох. Молодой шофер, побледнев, лихорадочно заработал руками, ногами, мотор взревел, но было поздно: в метровый разрыв уже всунулся радиатором передний трактор боковой колонны.

— Калмыков! — Михеев схватил шофера за плечо и стал наблюдать, как удаляется от него в крытом кузове «студебеккера» командир батареи со взводом управления. Санинструктор, маленькая круглолицая девушка, сидевшая у заднего борта, рядом с КВУ, насмешливо помахала ему ручкой, дескать, счастливо оставаться, товарищи огневики. До встречи на Одер!

Теперь придется «загорать» здесь, пока эта колонна не кончится. А конца ей не было видно: длинной пятнисто-зеленой лентой извивалась она до самого горизонта.

— Вот влипли мы по твоей милости, Калмыков! Закемарил, что ли? Побуревший шофер уныло глядит на нахальную колонну, с торжествующим грохотом вползающую под носом у него на автостраду. Гусеничные тягачи тянут за собой артсистемы большой мощности (БМ) с длинными толстыми стволами.

— Спасибо, ребята! — весело машут руками бээмовцы. — До скорого свидания на Одер!

Михеев сдвигает шапку то на лоб, то на затылок.

— Н-ну, Калмыков, — выдохнул сердито, — расстрелять тебя мало... Ты же видишь, какое столпотворение на автостраде, значит, гляди в оба. Вся бригада впереди, а мы... На «студебеккерах» припрямся на Одер после бээмовцев. Курам на смех!

Достал из планшетки карту. Километрах в пяти от того места, где они застряли, ответвлялась шоссейная дорога. Вначале она тонюсенькой светло-коричневой ниточкой бежит на юго-запад, потом прямо на запад. «Если она свободна, не рвануть ли по ней? Потом повернуть на север. Глядишь, не только догоним, а и обгоним командира батарей».

Бээмовская колонна вползла хвостом на автостраду, и батарея Михеева тронулась вслед за ней. Через час нудно-медленного движения в страшной тесноте и адском грохоте батарея свернула на свободную шоссейку и с «ветерком» помчалась на юго-запад.

В низине, в бассейне реки Драва, сильно похолодало. С севера подул ледяной ветер. Огневики, сидевшие на снаряжных ящиках в кузовах, укрывшись брезентом, плотнее прижимались друг к другу, но колючий ветер все равно крепко досаждал им. Но не только это беспокоило Михеева. За рекой Драва перестали попадаться советские артиллерийские колонны, двигавшиеся в северо-западном направлении, где как раз в это время отдаленно погромыхивало. Едва ли это были отзвуки боев с Одера. До Одера еще порядком. Тогда где же это погромыхивает? И почему исчезли советские войска? Не напороться бы на остаточные группы немцев. Пожалуй, пора поворачивать на север. Остановил машину, послал шофера за старшиной. Тот не спеша, вразвалочку, медвежьей походкой явился. Он никогда не спешил даже по вызову большого начальства, ревниво оберегая чувство собственного достоинства. В коричневом брезентовом дождевике с башлыком на голове. Широкоплечий, с мощными руками и ногами. С виду штангист-тяжеловес. И дождевик, и китель, и шаровары сшил ему на формировке командир первого орудия. Шил он аляповато, но... Казенное обмундирование трещало на старшине по всем швам либо вообще не налезало.

— Я вас слушаю, товарищ лейтенант, — пробасил старшина.

— Что будем делать, старшина? Двигаться дальше на запад или поворачивать на север?

Старшина хотел сказать: «Когда сворачивали с автострады, вы со мной не советовались. Почему же я вам понадобился сейчас?» Но не сказал. Ему польстило то, что старший на батарее в трудную минуту советуется с ним, а не с лейтенантом Сухаревым, которого старшина недолюбливал.

— По-моему, — загудел старшина густо и низко, — надо жать до Одера, товарищ лейтенант, и там встречать свою бригаду. Уж там-то она от нас не ускользнет.

Михеев вслушивался в гудевший северо-запад не без тревоги. Погромыхивало все более раскатисто. Как отдаленная, но приближающаяся гроза. Казалось, черноту горизонта на северо-западе вот-вот проткнут белые копыя.

— До Одера горячего не хватит, старшина, — погруженный в свои размышления, сказал Михеев как бы между прочим.

— Горячего не хватит? — удивился старшина. — Спиртом заправимся!

Михеев отрицательно мотнул головой.

— Командир отделения тяги говорит: на спирту мотор стучит, как зенитка, и скорость пять километров в час.

— Ну, положим, не пять, а все двадцать пять, — возразил старшина не очень уверенно.

Михеев с минуту помолчал. Более всего боялся он прослыть профаном в том деле, которое любил. Но тревога его была слишком серьезной, чтобы в угоду собственному самолюбию утаить ее. Спокойно, словно не придавая своему вопросу большого значения, сказал:

— Как, по-твоему, старшина, что это там погромыхивает? — кивнул головой на северо-запад.

Старшина повел могучими плечами.

— Если не Одер, то какой-нибудь очередной котел.

— Одер отпадает, старшина. До Одера отсюда по прямой около ста километров.

— Ну, тогда какой-нибудь котел, — произнес старшина уже более твердо.

«И не котел это», — подумал Михеев, но вслух этого не высказал. Он еще не утвердился в своей страшной догадке.

— Если это котел, то нашу бригаду обязательно бросят на этот котел. Так что жать нам до Одера никак нельзя, старшина. Окончательно потеряемся. Застрянем без горючего где-нибудь у чертей на куличках и запоем Лазаря.

Батарея повернула на северо-запад.

Спокойствие давно покинуло Михеева. Он то открывал и закрывал дверцу, то вылезал из кабины на подножку и прислушивался. Хмурился, качал головой. Все более разрастающийся орудийный гул на севере ему явно не нравился. Остановил машину, вызвал младших командиров, кивнул головой на север.

— Слышите?

— Слы-ы-шим, — уныло протянул старшина. — Ну и что? — Он едва сдерживал раздражение. — Почему вас так беспокоит этот котел, товарищ лейтенант?

— Потому что это не котел! — сказал Михеев.

— Не котел? — округлил желтые глаза старшина. — А что же это, по-вашему?

— А вот командиры орудий сейчас скажут, что это такое.

Вслушиваясь в артиллерийский гул, командиры орудий долго морщили лбы. Никому не хотелось опростоволоситься. Каждый выжидал, чтобы первым высказал свое мнение кто-то другой. Если это не котел, то что же это такое?

— По-моему, все-таки, это котел, товарищ лейтенант, — командир четвертого орудия, высокий басовитый украинец лет за сорок, мельком глянул на лейтенанта и по насмешливому прищурю его серых глаз понял, что ошибся.

— Все согласны, что это котел? — громко спросил Михеев.

— Если не котел, товарищ лейтенант, то, по-моему, наши отжимают немцев дальше на север, — осторожно высказал свою мысль командир второго орудия сержант Круглов, кареглазый, черноволосый красавец со Ставрополя.

— А наоборот не может быть, сержант Круглов? — спросил Михеев.

— Наоборот? Как? — в голове у сержанта Круглова это «наоборот» не укладывалось.

— А вот так. По-моему, немцы атакуют наш правый фланг либо уже прорвали его.

Все посмотрели на него, как на ненормального. Слишком невероятным показалось предположение лейтенанта.

В это время не только солдаты и офицеры, но и некоторые генералы полагали, что, не задерживаясь на Одере, Берлин можно взять штурмом немедленно, в феврале же. А между тем положение советских войск на Берлинском направлении в начале февраля резко ухудшилось. Молниеносно продвигаясь от Вислы к Одере, войска Первого Белорусского фронта оставляли на своем правом фланге Восточную Померанию не занятой. А здесь, на Померанском плацдарме, у гитлеровцев скопилось до сорока дивизий. Соблазнительно было для них ударить по открытому правому флангу Первого Белорусского фронта с севера. И вот ударили.

Не будь этого головокружения, Михеев едва ли отважился бы на обгон. В самом деле, чего бояться, если наши уже на Одере? Жми на все педали! И вот теперь вырисовывается, что поступил, пожалуй, опрометчиво. Впрочем, как знать! Пока отрезанные от командира батареи «загорали» бы на автостраде, бригаду могли бросить вот на этот самый «котел», и удалось ли бы в этом случае разыскать ее — тоже неизвестно.

Старшина насмешливо хмыкнул, откинул с головы башлык и с жаром стал опровергать дикую, по его мнению, выдумку лейтенанта. Даже покраснел от натуги.

— Наши уже на Одере! И с чего вы это взяли, товарищ лейтенант? Не мог командующий фронтом допустить такую оплошность. Если нам угрожала такая опасность, мы бы не оставляли позади себя такие крепости, как Познань. Гитлеру сейчас не до жиру, быть бы живу. Ему надо быстрее стягивать войска к Берлину, а не мечтать о прорывах где-то далеко от столицы. Не может быть, товарищ лейтенант! — последние слова старшина, однако, произнес не очень смело: лейтенант слушал его со снисходительной усмешкой.

— На войне все может быть, старшина, — спокойно сказал Михеев, уже окончательно утвердившийся в своей догадке. — Поднимите наушники и вслушайтесь.

Все подняли наушники, а старшина совсем снял шапку, ветер взлохматил темно-русые волосы на его большой лобастой голове.

В сплошном орудийном гуле различались отдельные взрывы: бух-бух-бух.

— Ну? — сказал Михеев. — Слышите, как молотят? Разве это котел? Для котла слишком сильна канонада. Нет смысла тратить на окруженных столько боеприпасов. Посидят-посидят немцы в котле, съедят все, что можно съесть, и сдадутся. А здесь — не то. Здесь обычная перестрелка. И ведут ее немцы. Долбят наш правый фланг, пробивают в нем брешь — вот что это такое.

— Товарищ лейтенант, — заметил бывший пехотный офицер Шатурин, — а если немцы прорываются из котла да при поддержке большого количества танков?

Михеев снял шапку, варежками надраил уши до красноты (он никогда не опускал наушники), заправил под шапку непомерно разросшийся русский чуб, закрывавший иногда правый глаз. Щадя самолюбие бывшего старшего лейтенанта, а теперь, после штрафбата, командира отделения тяги, сказал как можно мягче:

— И по танкам такая канонада не требуется, Федор Павлович. Для танков у нас имеются истребительно-противотанковые полки, но отсюда мы их не услышим. А грохочет, как изволите слышать, крупнокалиберная. Так что это не котел. Что угодно, только не котел, — озабоченно повертел головой во все стороны. — Как бы не пришлось нам вступить в бой прямо с ходу без отдыха. Успеть бы где перекусить да обогреться. Поворачиваем на север! — скомандовал, уже не спрашивая ничего согласия. — Карабины и автоматы в руках. Не спать. Быть на чеку. По машинам!

Настороженно ползли на гул еще часа полтора. И в одном из фольварков, покинутом хозяевами, сделали привал. Не отдыхая, сразу приступили к оборудованию огневой позиции. Ее маскировку Михеев поручил лейтенанту Сухареву. «Замаскировать так, чтобы вначале увидели противника мы, а не он нас!» — приказал Михеев. Сухарев постарался: закрыл батарею сплошной стеной трехметровых елочек и обсыпал их снегом. Не поленился сбегать до северного леса и оттуда в бинокль определить качество своей работы. Возвратясь, весело доложил: «Комар носа не подточит!»

Облепленные солдатами, четыре тяжелых танка один за другим выползли из северного леса. Перед мостом через овраг остановились. Сол-

даты спрыгнули с головного танка, пробежали по мосту, скрылись под ним. Головной танк круто повернул направо и, колыхаясь на неровностях почвы, покачивая длинным стволом, ходко пошел по опушке леса в сторону деревни. Второй, тоже по опушке, поплыл в противоположную сторону, на восток. Два других стояли на месте. «То ли это разведка, то ли они уже опознали нас и берут в клещи?» — думал Михеев, вглядываясь в танки сквозь маскировку. Первый и второй танки одновременно повернули обратно, десант с головного вернулся на свои места, и все четыре танка в прежнем порядке пошли через мост на фольварк.

— «Тигры», товарищ лейтенант! — выкрикнул наводчик второго орудия сержант Аверин, ловкий и зоркий паренек-дальневосточник. Про него среди огневигов сложилась поговорка: «Наводчик Аверин — будь уверен!» Никто на тренировках не стрелял так метко прямой наводкой, как он. В качестве наводчика Аверин имел дело с «тиграми» еще летом 1943 года под Курском, где был тяжело ранен. С тех пор он их не видел. И вот новая встреча со старыми знакомцами, будь они неладны.

— Вот и пехота за ними волокется! — снова выкрикнул Аверин, хотя Михеев, навалившись на бруствер, находился с ним бок о бок.

— Не кричи, немцы услышат, — не оборачиваясь, сдержанно сказал Михеев, нелегко давалась ему эта сдержанность. — Я не глухой. На Дальнем Востоке что: все разговаривают, как через Амур?

Колонна пехоты быстро оборвалась. Не более двух рот. «Что же это такое? — опять ломал голову Михеев. — Передовой отряд, за которым следует мощная группировка, удачно совершившая прорыв? Не похоже. У немцев мотопехота. Скорей всего горстка от этой группировки, избежавшая уничтожения, счастливо унесшая ноги».

Негромко скомандовал:

— По переднему танку! (Командиры орудий повторяли команду.) Прямой наводкой! Взрыватель осколочный! Заряд полный! Зарядить, о готовности доложить!

Звякнули, застучали затворы. Командиры орудий почти одновременно подняли правую руку вверх: готово! Затаив дыхание, Михеев зорко наблюдал в трофейный цейсовский бинокль за танками. Едва заметное шевеля широкими гусеницами, «тигры» ползли медленно, не отрываясь далеко от пехоты. По небу с севера на юг, будто сопровождающая и поддерживая их, также медленно ползли черные тучи. Казалось, грозный гул исходил не от танков, а от этих свинцово-тяжелых туч, из-под которых тянуло жгучим холодом. В фольварке, в стороне от больших дорог, немцы, вероятно, намерены были отогреться и решить, что делать дальше. Еще никому неизвестно, ни немцам, ни русским, чем эта заваруха на севере кончится.

— Товарищ лейтенант, переднего подкую уже наверняка, — чувствовалось, что Аверину не хватает выдержки.

— Пусть подойдут поближе, — Михеев волновался не меньше других, но умел держать себя в руках.

— Нельзя медлить, товарищ лейтенант! — торопил Аверин. Глаза от ветра слезились, головной танк терялся из виду, и Аверин нервничал, дергал плечами, сучил ногами. — Командуйте, товарищ лейтенант, пока они не передавили нас, как клопов...

— Не паникуй, сержант, — сказал Михеев. — Слишком далеко. Попасть-то, может, и попадем, но по корпусу, а надо по гусеницам, иначе мы эти машины не остановим. Снарядов у нас не ахти, мазать мы не имеем права. Чем ближе, тем лучше.

— Ого! А если они попрут развернутым строем, успеем остановить все четыре?

— Должны успеть, если хотите жить.

— У них очень мощный огонь, товарищ лейтенант, — не унимался Аверин. — У каждого «тигра» по два пулемета, а болванка насквозь прошибает нашу «тридцатьчетверку». И еще у них очень сильная опти-

ка. Я уверен, они уже разглядели нас, но пока мы молчим, и они молчат, потом внезапно развернутся и... Не успеем остановить, товарищ лейтенант! Командуйте, пока не поздно...

— Спокойно, сержант, спокойно, не паникуй! — строго сказал Михеев, и Аверину это не понравилось.

— «Тигры» не фанерные макеты, товарищ лейтенант. Пятьдесят шесть тонн штук! Вы их видите впервые, а я-то их, ого-го, знаю! Как бы ваше спокойствие не вышло нам боком...

— Скорее твой мандраж выйдет нам боком! — уже сердито сказал Михеев. — А ну, перестань труситься, возьми себя в руки!

Не ожидал Михеев такого поведения от сержанта Аверина. Бывалый наводчик, батарейный снайпер и вдруг... Будто ему одному страшно. Но ты же командир, какое же ты имеешь право сеять среди подчиненных панику. В крайнем случае стисни зубы и молчи. «Да-а, — покачал головой Михеев, — действительно, фанерные танки — это одно, а стальные «тигры» — совсем другое...»

Танки были на полпути между северным лесом и усадьбой. Ровно гудя, они ползли по-прежнему медленно, спокойно-буднично, как гусеничные тракторы по колхозному полю. Пехота еле поспевала за ними, и танкистам, вероятно, было приказано ее не бросать. Уже видно было в бинокль, как сидели на танках автоматчики: руки в рукавах шинелей, воротники подняты. «Закоченели, — подумал Михеев, — сейчас огреем и согреем». Запорохали отдельные снежинки. Михеев хмуро посмотрел на черные тучи, низко нависшие над фольварком. «Пора, — решил он. — Если опять повалит густой снег и закроет танки, они действительно могут в суматохе передавить нас, как клопов». Окинул взглядом орудия и людей, затаившихся за брустверами и маскировочными елочками. Было приказано: при появлении противника не курить, не двигаться, не разговаривать и вообще ничем себя не выдавать, замереть.

Только хотел отойти от батареи назад, чтобы все расчеты хорошо его видели, танки остановились.

— Вот, видите, товарищ лейтенант, они уже разглядели нас, — не удержался Аверин. — В самый раз давать залп, пока стоят.

Но танки снова пошли вперед.

— Ничего они не разглядели! — сказал Михеев. — Поджидали пехоту! Не зря лейтенант Сухарев хвалился: «Комар носа не подточит». Вот что значит художник! Ну, теперь пора, — заправил чуб под шапку, подбодрил огневику: — Не паниковать! Снаряд у нашей гаубицы сорокакилограммовый. Броню, правда, не прошибет, но гусеницу порвать или башню заклинить — будь спок. А это не так уж мало, — отошел от батареи назад, снял шапку.

— Натянуть шнуры! — высоко поднял шапку над головой. — Огонь! — рубанул шапкой воздух сверху вниз.

Передний танк закрыло сизым облаком с тремя молниями внутри. Три молнии — три попадания. Какой-то расчет промазал. Брызнули по обе стороны от дороги пешие автоматчики, одни побежали на запад, в деревню, другие на восток — к оврагу. «Хальт! Хальт!» — стреляя из пистолета в воздух, кричали офицеры готовые за такое скотское поведение перестрелять их всех подряд. Торопя, подгоняя их на марше, офицеры обещали им скорый отдых и обед. «Пообедали». Осталось обрести вечный покой.

Повалил снег. Завьюжило. Взвихривая снежные пушинки, ветер смахнул с головного танка дым. С голыми катками, с понуро повисшим стволом, танк стоял поперек дороги, показывая артиллеристам, как визитную карточку, фашистский крест на своем правом борту. Три автоматчика валялись возле танка, четвертый, волоча ногу, уползал за танк. Остальных взрывной волной сдуло туда же. Командиры орудий уже подняли правую руку вверх, заряжающие вновь натянули шнуры. Башня подбитого танка вместе с орудийным стволом двинулась вправо.

— Огоны!

Головной танк запылал. Внутри танка начали рваться боеприпасы, башню сорвало взрывной волной. Из люка выплеснулось грязно-желтое пламя, клубами, как из паровозной трубы, повалил коричневый дым.

Второй танк, прикрываясь горящим головным, открыл огонь, два других расползлись вправо-влево и, маневрируя, тоже повели интенсивный огонь, стремясь, пока целы гусеницы, на первых же минутах вывести орудия из строя.

Бой закипел.

— Хлоп! Хлоп! — словно вальком по мокрому белью, хлопали танки.

— Бух! Бух! — подпрыгивая, огрызались орудия.

Попадая в покатые, зеркально гладкие скаты орудийных брустверов, похожие на детские ледяные горки, болванки, рикошетируя, с остервенелым визгом и воем взмывали над крышами усадьбы. Грохот выстрелов и разрывов, звяканье затворов, звон стреляных гильз, визг болванок, гул танковых моторов, копоть, огонь и... снежная карусель.

Когда второму танку заклинили башню (вероятно, случайно, а если не случайно, то скорее всего это сделал наводчик Аверин) и танк, отвлекая на себя огонь батареи, пошел на таран, Михеев со связкой гранат пошел ему навстречу. Чаузов догнал его, упал рядом.

— Товарищ лейтенант, я его не пропущу, уходите! Не ваше это дело!

— Ничего, ничего, Никифор Васильевич... Если у меня не получится, тогда ты... Но остановить надо, во что бы то ни стало, иначе он сомнет батарею...

— Ну нет, товарищ лейтенант, тут вы мне не указ! — ординарец бросился вперед, но Михеев ухватил его за полу шинели.

— Рано! Помешаешь батарее вести огонь! Лежи, пока не подойдет метров на полста...

Но уже в ста метрах от батареи танк с порванной гусеницей заюлил на месте. Красные языки запрыгали по его броне.

«Вот это обгон так обгон... — мелькнуло в голове Михеева. — Ну, ничего, нет худа без добра... Не мы одни — и они тоже на нас наварались. Посмотрим, кто кого... Посмотрим!»

«ИШАК» ИГРАЕТ ПОДЪЕМ

Весна на Одере. Краснокирпичные города и деревни на фоне изумрудных озимых полей и небесной сини — трудно оторвать взгляд от такой яркой картины. Спозаранку щедро хлещет солнце, весело трещат пичуги. Только Одер по-прежнему мутный, холодный, неприветливый словно чем-то недоволен, словно не рад весне.

На поросшей травой и кустарником песчаной низине между Одером и его высоким левым берегом расположилась корпусная артиллерийская бригада и множество зенитных батарей. Корпусники бьют по немцам через высокий левый берег, заросший лесом. Зенитчики бьют по «мессершмитгам», которые трижды в день, — утром, в полдень и вечером, в одни и те же часы и минуты, — прилетают бомбить один из многих мостов через Одер — тот самый деревянный мост на сваях, который находится позади батареи Михеева.

В шесть утра немецкая реактивная установка «скрипач», или «ишак», как прозвали ее наши солдаты, «играет подъем», то есть бьет по нашему переднему краю. От мощных разрывов сотрясается земля даже на огневых позициях, гаснут гильзовые лампы, сквозь накаты струится песок.

— Чтоб тебе содохнуть! — ворчит, отплевываясь, Михеев.

Командир второго огневого взвода старший лейтенант Кубарь, в прошлом пехотинец, спит лицом к стене как ни в чем не бывало. «Вот Федя-бредя, — весело думает Михеев, — ему и «ишак» нипочем».

— Кубарь! — кричит он. — Ты что, не слышишь? «Ишак» играет подъем. У меня уже полный рот песка. Тьфу!

Кубарь опускает с нар босые ноги (на ночь они с Михеевым снимают лишь сапоги и шинели), смотрит на свои трофейные швейцарские часы выпуска 1886 года. Светлые волосы плоскими, как мочала, прядями закрывают его лицо до подбородка.

— Опять ровно в шесть? — спрашивает он, не поднимая головы.

— Ровно в шесть, но с другого места, — говорит Михеев, снимая с полочки мыло и помазок.

— Неужели нельзя его накрыть? — спрашивает Кубарь, с треском заводя старинные часы ключом.

— Как ты его накроешь, кочующего? Он вот проскрипел и смылся на другое место.

— Кочующий, но бьет с одних и тех же точек. Немцы народ пунктуальный. Я заметил, по четвергам «ишак» бьет со стороны нашего НП. Ершов! — обратился Кубарь к телефонисту, сидевшему на солнышке у самого входа в землянку с привязанной над правым ухом телефонной трубкой поверх ушанки. — Спроси, откуда бил сейчас «ишак»?

— «Сосна!» — кричит Ершов в трубку. — Я «Береза». Откуда бил сейчас «ишак»? Не знаешь? Спроси у разведчиков, у Алиева спроси. (Молчание.) Откуда? Из Черного Яра? Ага, понял. Из Черного Яра, товарищ старший лейтенант, — доложил телефонист, просунув красное конопатое лицо в землянку.

— Слыхал? — Кубарь откинул свои «мочала» с лица на затылок, победоносно уставился на Михеева. — Сегодня четверг. А Черный Яр — один из наших ориентиров. Понял?

— А что, Федя, это идея! — Михеев оставил бритве, сел на нары, запустил обе пятерни в свой роскошный русский чуб, стал думать. В землянку заглянул ординарец Михеева Чаузов, коренастый румяный сибиряк, очень подвижный для своих сорока лет.

— Здравия желаю, товарищи офицеры! — бодро приветствовал он. — Принес с Одера свежей водички, пожалуйста умываться. Завтрак тоже готов. Поторавливайтесь! Утро отменное, скоро явятся «мессеры».

— Ершов! — крикнул Михеев телефонисту. — Командира батареи! — присев на корточки у выхода из землянки, взял трубку. — Здравия желаю, товарищ старший лейтенант! У меня сэкономлено 20 снарядов. Разрешите прийти на НП пострелять? Что? Командир полка? Ясно. Хорошо. Жду...

Только Михеев и Чаузов тронулись в путь, как над Одером тревожно завывла сирена. Огневики Михеева вылезли из землянок. Ершов, наоборот, нырнул в землянку.

Чуть левее деревянного моста, у самого берега, зенитная батарея. Высокий стройный офицер-зенитчик выскочил из землянки, пронзительно засвистел в милицейский свисток. Моментально все зенитчики на местах, чехлы с орудий сдернуты, командир батареи командует установкой («слухачи» сообщили ему с «передка», на какой, примерно, высоте летят немцы), и тонкие длинные стволы зениток поднимаются вверх. Задрав головы, огневики напряженно наблюдают в небо. Уже слышен гул моторов, но самих самолетов еще не видно.

— Вон они! — вдруг кричит один из огневиков, глядя на западное небо из-под ладони.

— Где, где? — беспомощно щурятся остальные.

— Да во-он, вон, смотрите в направлении вон того облачка.

— Верно! Вон они, вон они!

Серебристо блестя в лучах солнца, высоко летят журавлиным треугольником две дюжины «мессерцмиттов». Они летят так высоко, что

бить сейчас по ним бесполезно. Поэтому вся зенитная оборона, охраняющая деревянный мост на сваях, затаилась в молчаливом ожидании. Вот «мессершмитты» перелетели через Одер и разворачиваются со стороны солнца для пикирования. Одер к этому времени уже не виден: саперы закрыли его куполами густого, упругого, молочно-белого дыма от толовых шашек. Немецким летчикам приходится бросать бомбы почти наугад — в промежуток между двумя дорогами, подходящими к мосту с обоих берегов. Вот с нарастающим воем пикирует первый самолет. Все ниже к реке. Когда до реки остается метров сто, от самолета, как чернильная капля, отделяется стокилограммовая бомба, и в то время, как происходит взрыв бомбы в воде, самолет выходит из пики и взмывает что есть силы к небу. Скорей, скорей! В этот момент он представляет из себя отличную мишень: и близок, и весь на виду, как крест. Тут-то и начинают трещать спаренные пулеметы и стучать зенитки: трррр, трррр, тррр, тах-тах-тах! Кажется, невозможно проскочить через такой огонь. Но самолет, лавируя, как стриж, уходит. За ним другой, третий, четвертый... Стоп! Один все-таки задымил и, снижаясь, полетел на немецкую сторону. Из него что-то выпало. Это «что-то» распустилось, и под белым куполом парашюта закачалось, как на качелях, черная фигура летчика. За высоким левым берегом Одера раздался взрыв, и к небу за клубилось черное облако. Летчику хочется приземлиться у своих, но ветер западный, и парашют опускается на широкую песчаную низину между рекой и ее левым крутым берегом.

— Наш! — кричат солдаты, устремляясь к летчику. Ведут его в ближайший штаб. Потом всем рассказывают: крупная птица, полковник авиации, известный немецкий ас, вся грудь в крестах. Огромного роста, лобастый, как волк. И такой же нелюдимый, как волк. Ни на кого не смотрит. Очень недоволен, что попал в плен.

Было так тепло, что Михеев и Чаузов отправились на НП в летней форме, без шинелей.

— А по мосту опять не попали, товарищ лейтенант!

— Не попали?

— Нет! Зато рыбы наглушили-и... Калашников побежал с пробойником на Одер. Зачем они понапрасну бросают бомбы в воду, товарищ лейтенант? Сколь не бьют по переправе — все мимо, а ежели в кои-то веки и повредят мост, саперы быстро его восстанавливают. Да и мостов-то через Одер сейчас, поди, уж не один, а с десяток, как не боле. Правда, товарищ лейтенант?

— Да, говорят, плацдарм по фронту уже восемнадцать километров.

— Неужели фрицы не убедились, товарищ лейтенант, что помешать переброске наших войск через Одер уже бессильны.

— Однако ж днем, Никифор Васильевич, наши войска через Одер не переправляются. Только ночью. Выходит, не зря налетают. Ты вот что скажи: почему не налетают внезапно? Какая им польза от их пунктуальности?

— Вот именно. И вообще, пора бы им лапки кверху, товарищ лейтенант. До Берлина семьдесят километров. На что они надеются, товарищ лейтенант?

— На сепаратный мир с нашими союзничками.

— Неужели это возможно, товарищ лейтенант?

— Империалисты на все способны, Никифор Васильевич. Хорошего от них не жди. Помнишь, как сказал Трумэн, когда Гитлер напал на нас: «Если начнет побеждать Германия, мы будем помогать России, а если начнет побеждать Россия, мы будем помогать Германии. И пусть они убивают друг друга как можно больше». Сейчас они уже готовы перевернуться на сторону Германии. Но Гитлера и это уже не спасет. Песенка его уже спета. Сейчас у нас такая силища, Никифор Васильевич, что не устоят против нас ни Германия, ни Америка, ни Англия вместе взятые. Союзнички и второй-то фронт открыли почему? Испу-

гались, что без их помощи мы не только возьмем Берлин, но и дойдем до Ла-Манша.

— Одним словом, как я понимаю, товарищ лейтенант, сволочная публика, эти империалисты, язви их.

— Да. Хороших среди них — раз, два и обчелся.

Под левым берегом Одера зашли в штабной блиндаж напиться. Один из штабных писарей, белобрысый весельчак и проказник, подал Михееву несколько писем для НП.

— А мне нет? — спросил Михеев.

— Вам нет, товарищ лейтенант.

Когда Михеев и Чаузов начали подъем на гриву, писарь догнал их.

— Товарищ лейтенант! Только, чур, по секрету, а то капитан Дацкевич голову с меня снимет. Завтра в числе других награжденных капитан Дацкевич вручит вам орден Красного Знамени. За бой с «тиграмми» под Арнсвальде. Помните обгон? — улыбнулся. — Заранее поздравляю, товарищ лейтенант.

— Спасибо, — Михеев пожал писарю руку и тоже улыбнулся. — На обратном пути зайдем, расскажешь нам, как ты вставил в рот спящему капитану Дацкевичу запаленную сигарку и как капитан Дацкевич прожег подушку. Как ты насыпал ему в ящик стола табачной пыли, и как он, кутаясь в шинель и полагая, что простыл, весь день чихал, обливаясь слезами. Как ты положил ему в ящик стола ужа и как капитан Дацкевич рванул из блиндажа, очертя голову.

Виновато мигая белобрысыми глазами, писарь все время порывался возразить («Вот народ! Раздувают из мухи слона!»), потом понял, что это бесполезно: все равно они ему не поверят, не поверят даже в том случае, если заведомо знают, что это выдумка. Любит фронтовая братва в часы затишья позубоскалить, пошутить, побалагурить, вообще повеселиться. Пусть!

— А откуда вам все это известно, товарищ лейтенант? — ухмыляясь, спросил писарь, явно довольный своей популярностью.

— Пысин! — послышался из блиндажа строгий зычный голос капитана Дацкевича.

— Я, товарищ капитан! — сверкая металлическими подковками хромовых сапог, писарь помчался к штабу, громко проклиная свою судьбу: — О, господи! Ни сна, ни отдыха измученной душе!..

Дальше Михеев и Чаузов шли по «нитке», то есть по телефонному кабелю, так как на здешнем НП еще не были. Когда перевалили через гриву, прыгнули в траншею, справа проскулила мина.

— Не нас ли приветствуют фрицы, товарищ лейтенант?

— Возможно. Идем под уклон и им нас видно. Пригибайся, — и сам пригнулся первым. Чаузов последовал его примеру.

— Здравия желаю, товарищи! — громыхнул Михеев, спускаясь в блиндаж.

— Здравия желаем, товарищ лейтенант! — приветствовали разведчики, радисты, телефонисты своего бывшего КВУ.

Со свету в темной, без единого окошечка землянке ничего не было видно.

— А где старший лейтенант?

Вместо ответа Михеев увидел протянутую руку.

— Ты что-то совсем ослеп, Александр Михайлович.

— Так у вас же ни черта не видно, — подал командиру батареи пачку писем. — Вот вам, товарищи, читайте, я пока попугаю фрицев. — Прошел в отделение для стереотрубы, где за нею сидел разведчик-наблюдатель Алиев, молодой паренек, бывший сельский учитель из-под Баку. Образование — десятилетка. Бывало, на формировке, на занятиях в поле, даст ему Михеев исходные данные, Алиев с карандашом и блокнотом в руках шевелит губами минуты три, а потом докладывает:

— Гатова!

— Отлично! — похвалил Михеев, выслушав доклад. — Открывайте огонь. Цель — пулемет. Задача — подавить.

Алиев командует:

— Стреляй первому орудью! Цел — пулимот, задача — удавить!

— Мирзоджан, — мягко поправляет Михеев, — не удавить, а — подавить.

— Какой разница, товарищ лейтенант! Все равно капут!

— Вообще-то правильно, — смеется Михеев, очень довольный успехами своего разведчика. — Продолжайте в том же духе, Мирзоджан Юсупович, давите фрицев!

— Как живем, Мирзоджан?

— Ничего, товарищ лейтенант, помаленьку. А как вы?

— Тоже пока слава богу. Жив-здоров, чего еще желать на фронте.

— Очень даже верно, товарищ лейтенант.

— Слушай, Мирзоджан, откуда бил сегодня «ишак»?

— Из Черного Яра, товарищ лейтенант.

— А что это такое — Черный Яр?

— Это наш ориентир номер три, — отвечал Алиев, не отрывая глаз от окуляров стереотрубы, которую он называл «стервотрубой».

— Понятно. Не надоело тебе сидеть за «стервотрубой»?

— Никак нет, товарищ лейтенант. Очень интересно наблюдать за противником.

— Все же отдохни маленько, разомнись, а я тем временем стрельну разков пяток.

— Пожалуйста, — Алиев уступил место.

Михеев сел на мягкое с соломенной подстилкой сиденье, припал к окулярам стереотрубы и стал изучать передний край противника. Он проходил по обратному склону высокого левого берега Одера. За немецкими пехотными траншеями склон обрывался. От обрыва в тыл противника уходила проселочная дорога. Справа от нее стоял кирпичный домик, обращенный глухой (без окон, без дверей) левой стороной к Михееву. Между кирпичным домиком и обрывом красовалось кудрявое дерево, обозначенное на схеме как ориентир номер один (схема ориентиров висела на стене слева от стереотрубы). Из-за кирпичного домика вышли двое мужчин в черных телогрейках, держа руки в карманах брюк. Они приближались к кудрявому дереву-ориентир номер один. Михеев уже знал, что немцы не любят держать руки в карманах брюк, и решил, что это власовцы. «Стоит израсходовать на этих гадов один снаряд», — подумал он и скомандовал на батарею для первого орудия установки, записанные на схеме под ориентиром номер один. «Первое готово!» — доложили. Михеев стал ждать. Выстрел надо было дать с таким расчетом, чтобы снаряд разорвался на дороге кудрявого дерева в тот момент, когда к этому дереву приблизятся власовцы. Расстояние отсюда до батареи — 2,5 километра. А от НП до ориентира номер один — три с половиной километра. Итого шесть. При средней скорости 600 метров в секунду снаряд пролетит это расстояние за 10 секунд. Это, если по прямой. Но гаубичный снаряд делает крутую траекторию, и если ее вытянуть, то шесть километров превратятся в двенадцать. Значит, уже не десять, а двадцать секунд будет лететь снаряд. За двадцать секунд эти неторопливо идущие власовцы сделают не более сорока шагов или двадцати пяти метров. Значит, выстрел должен быть сделан тогда, когда расстояние между власовцами и кудрявым деревом сократится до двадцати пяти метров.

— Мирзоджан, ориентиры хорошо пристреляны?

— Отлично, а что?

— Со стороны кирпичного домика к ориентир номер один приближаются два каких-то типа в телогрейках. Руки в карманах. Факт, что власовцы. Сейчас я их угощу. Так... Сто метров... Пятьдесят... Делим это расстояние пополам... Огонь!

— Выстрел! — доложили, тотчас оттуда донесся приглушенный расстоянием и дульным тормозом звук выстрела («чах!»), и высоко в небе загудел, зашелестел, засвистел снаряд. Алиев и другие разведчики выбежали наверх в траншею наблюдать взрыв снаряда в бинокли. Михеев наблюдал в стереотрубу. Пока, ничего не подозревая, власовцы попрежнему шли вразвалочку, держа руки в карманах брюк. Но вот снаряд пошел на снижение, угрожающе зашуршал, зафыркал прямо на их головы. Не вынимая рук из карманов, они остановились, насторожились. И в это время их вместе с дорогой закрыл огромный шар цвета красной глины с белой вертикальной молнией. Снаряд угодил прямо по дороге около ориентира номер один. Лучшего результата нельзя было ожидать. Желто-красная пыль рассеялась, но ни власовцев, ни трупов на дороге не было видно. Либо они успели нырнуть с дороги в кусты, либо их расшвыряло взрывной волной. Ни того, ни другого Михеев не видел. Над блиндажом послышались взрывы мин, разведчики с хохотом посыпались в блиндаж.

— Ну как, товарищ лейтенант, накрыли? — спросил Алиев.

— Аллах их знает. Снаряд, как мне показалось, угодил им прямо под ноги — и никаких следов. Как корова языком слизала. Ты наблюдал?

— По-моему, им капут, товарищ лейтенант. Унесло их взрывной волной к черту на кулички.

Михеев долго думал, потом отрицательно покачал головой.

— Нет, Мирзоджан, не унесло. Неправильно я определил расстояние от них до кудрявого дерева. Не сто там было, как мне показалось, а минимум полтора метра. Глубина обзора скрадывает расстояние. Получился недолет. Когда облако разрыва скрыло от наших глаз их, они целехонькими нырнули с дороги в кусты. Вот и все. Ну ладно, пойдем дальше. Ориентир номер два — желтый клин на холме — понятно. Еще левее — ориентир номер четыре — Черный Яр. Ага! Вот он-то мне и нужен, Черный Яр.

Черный Яр был скрыт отсюда густым кустарником. Какой-то мотоциклист выехал из-за кирпичного домика, проскочил по дороге, где только что шли власовцы, перед самым склоном свернул направо к Черному Яру. Михеев скомандовал для первого орудия установки по Черному Яру.

— Готово!

— Огонь!

«Чах!» — двадцатисекундное шелестящее шуршание в воздухе и — взрыв. Из-за кустов, из Черного Яра, поднялось черное облако пыли и дыма. А если уменьшить прицел, куда упадет снаряд? Снаряд упал в Черном Яру, но явно ближе первого. Михеев еще уменьшил прицел — снаряд угодил по кустам, что прикрывали отсюда Черный Яр. Этот прицел уже не годился. Стало быть, установки по Черному Яру не следует подвергать сомнению, они хороши для ориентира номер три, а не для «ишака», конечно же, который будет бить из-под самого яра, и если ударить по нему на установках для ориентира номер три, то снаряды полетят через него, «ишак» отделается легким испугом и немедленно смоеется. И едва ли в другой раз отважится бить отсюда же и в четверг. Поменяет либо день, либо место. И вся его затея пропадет. Нет! Бить по «ишаку» надо только на втором прицеле. Вот его-то надо записать.

— Значит, так, Мирзоджан. В следующий четверг, как только «ишак» заиграет из Черного Яра, ты мне сразу доложишь: «Черный Яр!» Понял?

— Понял, товарищ лейтенант.

— Все, можешь занимать свое место. — Михеев спустился в блиндаж. Командир батареи читал письмо, освещая его карманным фонариком.

— Сколько снарядов израсходовал? — спросил он, не отрываясь от письма.

— Четыре.

— А говорил — двадцать.

— Остальные нужны мне для одного дела.

— Для какого?

— Секрет. Об этом скажу по телефону.

— Добре. Да! Чуть не забыл! Завтра тебе к 10 утра к капитану Дацкевичу.

— Зачем? — притворно удивился Михеев.

— Там узнаешь. А вечером я приду к тебе в гости! Не возражаешь?

— Буду рад. Жареного зайчика и жареной рыбки Чаузов обеспечит. Обеспечишь, Чаузов?

— Как пить дать, товарищ лейтенант.

— Из карабина попадает в скачущего зайца, — похлопал своего ординарца по плечу. — Пошли, Чаузов.

В четверг ординарец разбудил Михеева в половине шестого. Михеев умылся, оделся, вышел на воздух. Солнце еще не взошло, небо было чистым, день опять обещал быть погожим. Около шести скомандовал:

— Батарея, по местам! Угломер, прицел... Зарядить, о готовности доложить.

— Готово! — Командиры орудий почти одновременно вскинули правую руку вверх. «Ох и орлы у меня — командиры орудий!»

— Ершов, Алиева к телефону!

— Алиев у телефона, товарищ лейтенант! — доложил Ершов. Присел на корточки, Михеев взял трубку.

— Мирзоджан, ты уже не спишь? Молодец. Значит, так. Как заиграет из Черного Яра, сразу передай сюда, Ершову, а он передаст мне. Хорошо, если бы ты одновременно следил за Черным Яром и держал трубку около уха. Можно? Давай! Смотри, не проворонь мне «ишака».

Без пяти шесть Михеев приказал командирам орудий проверить точность наводки.

— Натянуть шнуры! — скомандовал Михеев без одной минуты шесть.

Точно в шесть, как всегда, заиграл «ишак»: ы-а, ы-а, ы-а...

— Черный Яр! — крикнул Ершов Михееву.

— Батарея, четыре снаряда, беглый огонь! — скомандовал Михеев. Один за другим шестнадцать снарядов полетели на «ишака». И «ишак» сдох, не допев своей песни. Ни на следующее, ни в последующие утра его не было слышно. И на четвертое утро не было слышно. И вообще больше не играл до начала наступления наших войск на Берлин.

Спустя неделю командир полка позвонил Михееву:

— Только что по дороге на мой НП убит капитан Дацкевич. Принимайте батарею, лейтенант Михеев.

— Слушаюсь, товарищ подполковник.



Леонид Семенович Мерзликин родился в 1935 году в с. Белярском на Алтае. Окончил культпросветучилище, а затем Литературный институт имени А. М. Горького. Первая книга стихов вышла в Москве в 1963 году. В последующие годы написано и опубликовано около десяти поэтических сборников, изданных в Москве и Барнауле.
Член Союза писателей СССР.
Живет в Барнауле.

Леонид МЕРЗЛИКИН

ОТ ЗВЕЗДЫ ДО МАЛОЙ БЫЛКИ

ЛЮБА ЖУРАВЛЕВА

Быль

В буреломной чаще
Весь плющом увитый
Люди отыскали
Наш «КВ» разбитый.

В землю запахался
Он катками всеми,
К рычагам склонился
Воин в черном шлеме.

А в кармане слева
Маленькое фото:
Люба Журавлева
Загрустила что-то.

«Не грусти, родная,
Я к тебе приеду,
Только помоги мне
Одержать победу.

Только помоги мне
Двинуть рычагами,
Развернуться танком
В этой черной яме.

Да вздохнуть бы грудью,
Да открыть бы веки...
Только не увижу
Я тебя в веки.

Только не услышу
Твоего я слова,
Люба моя, Люба,
Люба Журавлева...»

Пырхали синицы,
Хлюпало болото.

Люба Журавлева,
Маленькое фото.

Маленькое фото
Грустное такое.
И такое небо
Светлое, большое!..

1980 г.

РЯБИНА

Сесть на электричку и уехать,
Словно в воду кануть, и друзья
Пусть потом выпытывают: — Где хоть
Тайная зазнобушка твоя!

Почему зазнобушка! — Отвечу. —
Просто я тогда, на склоне дня,
Ушел из города на встречу
С молодой рябиной у плетня.

Там стояла, помнится, избушка
По карнизу с тонкою резьбой,
У рябины, помнится, из ушка
Виснул месяц светло-голубой.

И листва неслышная срывалась,
Упадала мягко на крыльцо,
Ну а то, что створка открывалась,
Улыбалось девичье лицо,

Я, друзья, рассказывать не стану.
Самому не верится. Зачем
Предаваться сладкому обману!
Было вроде так, да не совсем.

Лишь одно могу удостоверить,
Что была рябина у плетня,
Перед ней мудрить и лицемерить
Не хватает силы у меня.

1980 г.

ДОМОЙ

В какую сторону ни едди,
В какие дали ни летай,
А где-то ночью на разъезде
Иль днем в гостиничном подъезде
Услышишь слово про Алтай,

И вдруг тебя как бы окатит
Волной горячей... Боже мой!
Потом тоска такая схватит!
— Наколесился, — скажешь, — хватит!
Пора бы, паря, и домой!

Домой, домой! И вот уж снова
Мотор ревет, мотор гудит,
А ты представишь, как корова
Стоит крупна, рыжеголова
У загородки и мычит.

Зажмурься. Сядь в свое сиденье
Поглубже. Жди. Она вот-вот
Твое заметит угощение,
Шагнет и нежно, сквозь пыхтенье
С ладони корочку слизнет...

1980 г.

Уехали. Жилище опустело.
В нем, кроме хлама, нету ничего.
Но что там, возле ящика того
Фанерного, лежит осиротело,

Забито и растрепано! Что там!
Раскрытый томик с чьими-то стихами.
И вот он предстает моим глазам,
Покрытый пылью, пахнущий духами.

Духи «Климá». Они еще слышны.
Наверно, томик в спешке позабыли.
Чьи пальчики, пристаючи, любили
Им нарушать безмолвье тишины!

А может, дело выглядело так:
Прочитанный на треть и абы как
Он брошен был, а нежными духами
Случайно залит! Что же я, чудак,

Не посмотрю, кто автор! Имя ново.
Я сел на ящик с грифом «Посылторг».
Что в томике! Тоска или восторг!
А может, ни того и ни другого!

1979 г.

В клубе каменном, бывшем соборе,
Где когда-то был склад зерновой,
То ли после войны как-то вскоре,
То ли позже завыл домовый.

На площадку для танцев сойдутся,
Под ногами кладбищенский прах,
Вдруг из клуба слова раздаются:
— Не танцуй на чужих головах!

Домовой — это враки, конечно,
Или чьи-то проделки. И все ж
Развлеченья свои не безгрешно
Проводила тогда молодежь.

Но сирень не понравилась или
Что-то было в тех самых словах,
Танцплощадку забили, забыли —
Не танцуй на чужих головах!

Та сирень уж давно отпылала,
Клуб снесли и на место его
Встало здание автовокзала,
И вокруг не узнать ничего.

Мчат машины, и ветер колышит
Молодую листву в деревьях,
И никто, озираясь, не слышит:
«Не танцуй на чужих головах».

Я брожу по весенней аллее,
На скамейке вокзальной сижу,
С каждым разом я все тяжелее
И больней от людей ухожу.

Ухожу и казнясь, и горюя:
Не обижен ли кто влопыхах!
И, недобро смеясь, говорю я:
— Не танцуй на чужих головах.

1979 г.

Неба тихое светленье,
Крыш пологие верха,
Просыпается селенье
С первым криком петуха.

Тут дудукнула машина,
Трактор там протарахтел,
Гусь гагакнул возле тына,
Тын рососою отпотел.

Еду я на тарантасе
За околицу, а там
Помашу кепчонкой Тасе,
Вдовьим ягодным устам.

Луч ударил свеж и колок,
Шины листьями шуршат,
Расступается околок,
По бокам плывет назад.

Еду логом, еду дальше,
Взгляд от пашни не отвесь.
Никакой в природе фальши,
Все открыто, все как есть.

Полынка сухая вехоть
Наклонилась над ручьем.
Так вот ехать бы и ехать
И не думать ни о чем...
P. S.

Пару слов о тарантасе.
Я, наверно, ретроград:
Хоть и есть «Москвич» у Таси,
Я всегда проехать рад

На какой-нибудь кобылке,
Но зато, мой друг, заметь:
От звезды до малой былки —
Все успею рассмотреть.

1980 г.

СУМЕРКИ

Светят окна, мчатся фары,
Фонари зажглись цепочкой,
Во дворце звучат фанфары
За кирпичной оболочкой.

Мы к сеансу опоздали,
Улыбнулись билетерше,
Опоздали, но едва ли
Оттого нам стало горше.

Люди, фары, перекрестки,
Пар клубком при разговоре,
На твоих ресницах блестя
Умножают блеск во взоре.

В магазине взял корзину
(Ох, уж эти мне корзины!),
Ты прошла по магазину,
Постоял я у витрины.

Переулком неторопоко
Мы идем домой на ужин.
Подожди немного, тропка,
Мне куржак вот этот нужен!

Повторится все, и снова
Будет так же снег искриться,
Только именно такого
Никогда не повторится.

1980 г.

Жил и помнил вздыбленные горы,
Женщину у вспененной реки,
С любопытством брошенные взоры
На меня не раз из-под руки.

Вот они, те вздыбленные горы,
И река бурливая... Но где
С любопытством брошенные взоры,
По какой уплыли по воде!

1980 г.

РАЗЛУКА

В душе светло и безмятежно,
Но ты куда себя ни день,
А он приходит неизбежно,
Последний день, последний день.

И непонятная тревога
Тебя окатит, ознобит,
И предстоящая дорога
Тебя ничуть не взвеселит.

И ты за шумной суетою
Осознаешь в который раз,
Что встанет вдруг перед тобою
Последний час, последний час.

Даешь кому-то обещанье,
В бокалах светится вино,
Присел с друзьями на прощанье,
Подбито все, подведено.

Мужчинам плакать не годится.
— Ну что, старик!
— Давай, старик!
И вот в глаза твои глядится
Последний миг, последний миг.

И ты его всю скоротечность
Постигнешь, мысленно скорбя,
Что время, хоть и бесконечность,
Не бесконечно для тебя.

1980 г.

Георгий ЕГОРОВ

НУЖНЫ ЛЮДЯМ

РАССКАЗЫ О МОИХ ДРУЗЬЯХ

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Мы не виделись много лет. И хотя раньше большими друзьями не были — были просто хорошими знакомыми, работали в одном районе, — повидаться все-таки хотелось. И вот с товарищами еду к нему. Еду и думаю: очень ли изменился Григорий Григорьевич?

Он увидел нас в окно. А через минуту уже спешил от крыльца к калитке.

Постарел ли? Да, постарел. Голова совсем стала белой, спина больше ссутулилась. Только глаза блестят не по-стариковски. Подумал грешным делом: наверное, ожидая нас, пропустил стаканчик. И только потом, за столом, убедился, что совсем не пьет. А глаза блестят от нерастроченной еще энергии, от молодости душевной.

И вот сидим, разговариваем, вспоминаем общих знакомых. От далекого прошлого разговор постепенно уходит все дальше и дальше, в глубину годов сороковых, тридцатых, двадцатых и так вплотную к революции и даже дальше за нее. Слушаю неторопливый рассказ о жизни человека, прошедшего все этапы истории страны за последние полстолетия, своими руками делавшего то, о чем мы знаем только по учебникам.

Неспешно говорит Григорий Григорьевич, с большими паузами. Припоминает, словно вновь все переживает, вновь пропускает каждый кусочек давно минувшего через свое уже не так четко работающее сердце. Слушаешь его и незаметно для самого себя переносишься тоже в далекое время...

Вот вроде бы слышны конский топот, людской гомон, скрип телег — мужики съезжаются на осеннюю ярмарку. Хотя и везти-то особенно нечего: за три года войны попустели мужицкие амбары, хлеба стоят которую уж зиму заколоченные за ненадобностью, обветшалые. Съезжаются просто так, по привычке, посмотреть на мир, послушать, о чем говорят люди. А слухи идут разные. Вчера, например, волной прошло по селам Урунской волости, что будто в Питере временную власть скинули, избрали постоянную. Керенского — по шапке. Ленин теперь с большевиками во главе стал. А что такое большевики? Никто никогда раньше об этих большевиках в солтонских краях не говорил, а видать их и во сне никто не видел.

Эти слухи и тянули людей на ярмарку — авось что-нибудь прояснится. Оно и действительно прояснилось.

В полдень из Кузнецка прискакал нарочный. (Урунск тогда относился по территориальной принадлежности к Кузнецкому уезду, а к Урунску относилась половина Солтона, а вторая половина села числилась за Нижнененинской волостью Бийского уезда.) Нарочный привез бумагу, в которой сообщалось, что действительно «в столице произошла

революция и власть полностью перешла в руки Советов в лице военно-революционного комитета». Такие военно-революционные комитеты рекомендовалось избрать и на местах.

Так и сделали. Здесь же, на площади Урунска, избрали волостной ревком. А председателем этого ревкома единодушно назначили Григория Антонова. Все знали его чуть ли не с детства — здешний он, шумихинский, хотя и из переселенцев, из неприписных. Три с лишним года провел он в окопах, хватил, как говорят, горячего до слез, понял толк в жизни. Знать знали, а для порядка при обсуждении его кандидатуры велели рассказать про свою жизнь — как бывший писарь волостной выразился:

— Пусть автобиографию свою расскажет.

И начал Григорий о себе рассказывать, да о своем хозяйстве, да думки свои выкладывать, как тянется мужик всю жизнь «в люди», все хочет больше засеять, да побольше собрать, да пустить в зиму лишний пяток голов скотины о том, как из года в год хочет заменить плетень вокруг своего двора на забор да так все откладывается с одного лета на другое (забывают дела более важные), а потом не успеет и оглянуться, ан полжизни уже улетело, уже и силенка не та, уже и поясница начинает ныть к непогоде... Уже и не до плетня... Слушают мужики и дивятся: в душу, как в зеркало, смотрит! Вот-те и Гришка из Шумихи.

А когда Григорий дошел до окопов на германских позициях, до братанья с немецкими солдатами и заявил, что там-то ему открыли глаза большевики на жизнь и что там он и примкнул к этим большевикам, мужики от такого сообщения рты поразевали: вот оно что оказывается — Гришка-то большевик!

Горячим ветерком колыхнуло от толпы — коль все они, большевики, этакие, как Григорий Антонов, значит, верить им можно, значит, свои они, мужички. Правильно, стало быть, решили, назначив Григория председателем Советской власти в своей волости!..

Немного успел Григорий Антонов сделать для сельчан в своей новой должности. Нарезал весной земельные наделы для неприписных переселенцев, поприжал продрозверсткой богатеньких — хлеб для Советской власти нужен был до зарезу, особо нуждающимся выписал еще по осени лесу из ближних делянок, особо солдаткам и безлошадным.

Едва отсеялись мужики весной восемнадцатого года, чехи подняли мятеж. Прошел от Бийска на Кузнецк по селам Нижнененинской, Сузопской, Поповической, Урунской волостей карательный отряд, засвистели плети на сельских сборнях. У молодой Советской власти на местах не было вооруженной силы, чтобы противостоять карательным отрядам. И ушли ревкомы в черневую тайгу — в чернь, как зовут ее в этих местах.

Не успело в Омске еще сформироваться новоиспеченное правительство, как почти вся тайга — от Большого Калтая до каракорумских владений — заполнилась партизанскими отрядами.

Григорий Антонов оказался в кузедеевском отряде, командиром которого был Галанов. Хоть и восстанавливали каратели снова свою власть, все-таки порядки в селах остались прежние, советские. Партизаны всюду диктовали свои требования, и сельские старосты не смели шага ступить без согласования с партизанами...

Слушаю я рассказ седого ветерана о далеких годах его молодости и молодости Советской власти на Алтае, и кажется мне все это далеким-далеким, подернутым сизовой дымкой легенд. И сквозь эту дымку, как на киноэкране, проходят кадры: тысяча девятьсот двадцатый год. Колчак разгромлен. Григорий Антонов — председатель теперь уже

Шумихинского ревкома. Советская власть уже накрепко установлена и дела, которые делает предревкома, делает тоже накрепко, навсегда.

В стране голод. В Питере голод. В Москве голод. Хлеб у кулака. Хлеба много. Но он не хочет кормить Советскую власть, власть пролетариата и беднейшего крестьянства. Хлеб приходится брать силой. А в ответ из-за угла по ночам гремят выстрелы, падают активисты. Не раз и на предревкома смотрел черный, леденящий душу глазок кулацкого обреза, не раз свистела пуля над головой. Но не для того завоевывали власть, чтобы бояться кулацких обреза и снова ходить под чьим-либо диктатом!..

Кинолента времени гонит и гонит сквозь сизую дымку кадры, льется и льется неторопливый рассказ «председателя Советской власти» в солтонских краях Григория Григорьевича Антонова: первые ТОЗы — товарищества по совместной обработке земли, первые коммуны. В одной из них, в Шумихе, в коммуне «Встреча» довелось не только быть организатором, но и председателем. После ликвидации волостей и появления сельских Советов и райисполкомов Григорий Григорьевич Антонов — председатель первого сельского Совета в Каракане (Шумиха была присоединена к этому сельсовету), на первом районном съезде Советов в Солтоне избрали Григория Григорьевича депутатом райсовета и членом исполкома.

Все эти годы ни на минуту не затихала борьба за хлеб. А это значит, что в деревне шла классовая борьба, — хлеб-то по-прежнему был у кулака! У Григория Григорьевича удивительная память, он до сих пор помнит цифры по продналогу.

— В феврале двадцатого, — говорит он не без горделивых ноток в голосе, — дали мне план: заготовить двенадцать тысяч пудов. Заготовил. Дали еще пять тысяч! Тоже заготовил!.. Вот работали!

Григорий Григорьевич не лишен присущей пенсионерам влюбленности в «свое время» — во время своей молодости, которой так гордятся нынешние старики. И, конечно, ему, как почти каждому нынешнему пенсионеру, то далекое время кажется необыкновенным и ни в какое сравнение не идущим с сегодняшним, нашим временем.

— Сорок пять хозяйств раскулачил я в Караканском сельсовете, — продолжает Григорий Григорьевич, и глаза у него блестят, как у старого воина при звуках боевой трубы.

Да, действительно боевое было время! Кругом в тайге кишмя кишели банды. Сынки тех, кого «председатель Советской власти» раскулачивал, кружили вокруг сел, делали налеты. Однажды встретили на таежном проселке своего кровного врага. Один ехал Григорий Антонов, с покоса возвращался. Вышли двое. «Вот теперь мы сочтемся», — говорят, а сами оглядываются. Бояться им вроде бы некого — на десяток километров кругом ни души. Значит, подкрепление ждут. Хотели лошадь за узду взять, но не из тех был председательский жеребчик, чтобы поддаваться незнакомым, — норовистый был, в хозяина! Хлестнул председатель вожжой, свистнул — и не выдержали бандиты, кинулись в стороны. Ходок только застукотел по корневищам. А вдогонку: бах-бабах-бах.

Много бед наделал в округе главарь банды Вагин со своими молодчиками. Особенно свирепствовал его помощник Шурка Белов, сынок одного из шумихинских кулаков. Не раз выезжали на поиски их банды и чоновские отряды, и бийская уездная милиция, и даже группы из чекистского батальона, но банды уходили в тайгу и исчезали там, словно сквозь землю проваливались.

И вот однажды зимой прискакали в сельский Совет мужики на саянах, говорят:

— На конце села Вагин с Шуркой пьяные появились! Вдвоем пришли из тайги пешком...

— Что ж вы их не взяли, коль они вдвоем?

— Боязно, Григорий Григорьевич. Как-то несподручно одним-то, без Советской власти...

— Что-то не узнаю я тебя, Иван, — с укором посмотрел он на одного из сельчан. — В партизанах с тобой были вместе, не замечал, чтобы ты трусоватым был.

— Оно и сейчас я не трушу, Григорий, да ведь их семеро у меня. Случись что — кто кормить-то будет?..

— У тебя семеро, а у меня шестеро — на одного лишь меньше... Ну ладно, поехали, показывайте, где они.

Прихватил с собой трехлинейку — еще со времен партизанской войны берег ее, авось пригодится в такую-то горячую пору. Когда подъехали к крайней избе, оттуда вдруг раздался револьверный выстрел. Григорий Григорьевич залег за сани и открыл огонь по окнам. Вскоре из избы выскочили двое и побежали в сторону леса. Антонов выстрелил в одного. Тот упал. По второму промазал. Тот начал отстреливаться. У Антонова кончились патроны. Перестал стрелять и бандит. Он остановился в полусотне саженной в выжидательной позе, засунул руки в карманы и всем своим видом говорил: а ну попробуй, подожди!.. А делать было нечего, надо кому-то рисковать, тем более, что патронов больше нет. И Антонов взял винтовку на изготовку (в основном для видимости и внушительности) и пошел напрямую к Шурке Белову — теперь уж он узнал его...

Сейчас, когда седой пенсионер рассказывал мне об этом поединке, у него вдруг начала подергиваться шея. Может быть, с того дня и появился этот тик. Может, с того дня и появилась первая седая прядь...

В начале пятидесятих годов я много раз бывал в тех местах, о которых рассказывает мне Григорий Григорьевич, хорошо помню одного из лучших в Солтонском районе того времени председателя сельсовета Григория Григорьевича Антонова, но никогда не доводилось так вот разговорить его. При встречах даже не догадывался, что передо мной один из первых в районе председателей сельского Совета. А он, неприметный, скромный труженик, никогда не подчеркивал свое «я» и свои дела, никогда не кичился своим прошлым, не ставил его себе в заслугу. Было время, когда его выдвигали на руководящие должности в райцентре. Много лет работал он заместителем председателя райисполкома, несколько раз избирали его и председателем райисполкома. Словом, всю жизнь отдал он своему родному Солтонскому району, и многое в районе связано с именем Григория Григорьевича Антонова.

Григорий Григорьевич сейчас не работает — он уж в преклонном возрасте да и здоровье все, без оглядки, отдал «своему» времени. Теперь настало время его детей. И он очень радовался, когда проходил мимо галереи уважаемых людей Горно-Алтайска, среди которых портрет и его дочери Полины Григорьевны Смирновой, врача областной больницы. И все-таки без дела он не сидит. Не может он без дела. Он разводит кроликов, выводит новые породы. На городских выставках из года в год получает дипломы. Что ж, каждому возрасту свои занятия, и каждому поколению «свое» время.

2. БУМАЖНИК АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА

Несколько лет назад мне довелось присутствовать при вручении ордена Трудового Красного Знамени бывшему директору совхоза «Романовский». Когда выходили вместе из райкома партии, Алексей Иванович Каманин достал старый, потерявшийся и зашитый на сгибе нитками через край бумажник, чтобы положить в него новую орденскую книжку. Я удивился. И пошутил:

— Алексей Иванович, неужто на новый бумажник зарплаты не хватает?

Алексей Иванович остановился, подержал, будто взвешивая на ладони вынутый бумажник, и тихо проговорил:

— Этот непростой, я купил его на свою первую получку, когда работал землекопом на строительстве Горьковского автозавода...

Вон оно что оказывается! Передо мной вещь, которая связана с одной из великих строек первой пятилетки. Я даже потрогал руками этот поистине исторический бумажник. И все же он никак не вязался с видом хорошо, по-современному одетого человека. Я об этом сказал Алексею Ивановичу. Он снова взвесил на ладони реликвию, улыбнулся:

— Вот получу последнюю перед пенсией получку, принесу ее в этом бумажнике домой, тогда и положу его для внуков и правнуков...

Об этом я вспомнил недавно, когда Алексей Иванович уходил на пенсию после сорока с лишним лет трудовой деятельности. И захотелось мне рассказать лишь об одном годе из этих сорока с лишним.

Это было двадцать с лишним лет назад.

Он появился в нашем районе ранней весной 1954 года — в самом начале освоения целины. Коренастый, плотный, чуть-чуть седеющий, он заполнил собой, казалось, все районные организации: в банке открывал счет, в потребсоюзе заказывал товары, в райисполкоме торопил с отводом земель... Его окающий волжский говор слышался то там, то здесь, его узнавали по походке.

Вспоминается, что иногда этот неутомимый человек в кожанке исчезал из райцентра — от зари до зари ездил по пустынным, но уже разбуженным приходом весны полям. Возвращался в районную гостиницу с головы до ног мокрым, обляпанным грязью, но довольным, с веселой искринкой в глазах.

Через несколько дней из райцентра в открытую степь вышел райкомовский газик-вездеход — Алексей Иванович повез районное начальство на облюбованное им место. Машина остановилась среди необозримого поля, покрытого пожухлым, осевшим от весеннего солнца снегом. Алексей Иванович прошел по твердому еще насту, под которым с беззаботной говорливостью журчали ручейки.

— Здесь будем строить совхоз...

А еще через несколько дней в район нагрянула многоголосая шумная городская молодежь. Приехавшие разместились пока в райцентре и в селе Закладном. Но каждому не терпелось посмотреть место, где придется строить, справлять свадьбы, рожать детей, словом, жить.

Прошло еще немного времени, и появились первые палатки. А со станции пошли тракторы. Тогда, на двадцать пятом году коллективизации, трактор в селе — далеко не новинка. Но эти в каждом селе встречали торжественно. Бабы выходили из мазаных по-украински хат, прикладывали к глазам ладони и с любопытством смотрели на колонны машин, на не по-деревенски боевых трактористов.

— Целинники... — произносили они новое, непривычное слово.

А тракторы шли и шли, будоража вековую степь. Я тоже смотрел на эти рычащие стальные машины, и мне почему-то вспоминался фронт — так перед прорывом укреплений противника выходили на исходные рубежи танки...

В дни штурма целины директор совхоза Алексей Иванович Каманин редко бывал в райцентре. Если приезжал, то всего на несколько минут по неотложному делу. Забегал иногда и к нам, в районную редакцию. Всегда веселый, возбужденный, никогда не унывающий.

— Пишете? — спрашивал он не без тени жалостного сочувствия к нашей работе. — А вы приезжайте к нам, посмотрите, как работают люди! Душа радуется!.. — И тут же добавлял: — Начали строить первый дом. Да не какой-нибудь, а двухэтажный! К осени поселок будет.

В другой раз говорил, окая:

— Погодите, вот скоро обживемся, свою газету откроем... А все-таки вы редко к нам заглядываете.

Он приглашал к себе в совхоз всех: иных на работу, других просто посмотреть. И когда к нему приезжали председатели колхозов, директора МТС, газетчики, он показывал все, ничего не таил. Я замечал, что он не хвастлив, не тщеславен, нет. Но любил блеснуть размахом работ, любил, когда вокруг него все кипит, когда люди загораются его огнем, живут его интересами, его жизнью. А его жизнь — это совхоз. Кроме совхоза, кроме освоения целины, в эти дни, казалось, для него ничего не существовало.

Эта самозабвенная влюбленность Каманина в свое дело сыграла одну из основных ролей в создании будущего коллектива совхоза. А коллектив создавать приходилось из самого трудно поддающегося перековке материала.

О целинниках чуть ли не с первого дня их появления в районе пошла молва как о людях отчаянных, не признающих, что называется, ни бога, ни черта. Нельзя сказать, что таких было большинство, но тем не менее они составляли немалую часть новоселов. Это они устраивали драки с деревенскими парнями, это о них разносилась из села в село молва, придающая не совсем лестный оттенок слову «целинник». И меня всегда удивляло, как этот простой, всегда с веселинкой в глазах человек в кожане мог подчинить своей воле, зажечь своим огнем ту разношерстную братию, которую составляли прибывшие из разных мест целинники... И он зажигал, он подчинял своей воле, он сколачивал коллектив, у него все ладилось, все получалось.

И вот тогда, после вручения ордена Алексею Ивановичу в Романовском райкоме партии, я, вернувшись домой, разыскал в своих бумагах очерк о нем — хотелось вспомнить все, что писал о Каманине много лет назад.

А писал тогда о том, как неопытные трактористы, работавшие до этого в городах, решали так называемую «проблему целинного пласта», как трудно было Алексею Ивановичу бороться с массовыми нарушениями трудовой дисциплины, с нехваткой материалов, специалистов — да мало ли недостатков и неполадок у людей, приехавших обживать голое место!.. Писал я главным образом о том, как Алексей Иванович сколачивал коллектив: все тяготы целинной неустроенности он делил поровну с рабочими совхоза — с утра до ночи мотался по полям, его можно было видеть на заре прикорнувшим у ног спящих в прожженной палатке механизаторов, обедающим из одного котла со всеми, наравне с другими мокнувшим под холодным весенним дождем, видели его с такими же красными от недосыпания глазами, как и у многих трактористов, видели, наконец, оживленным и возбужденным на летучих собраниях, когда он говорил о первых достижениях. И главное — видели, что все это не показное, не рассчитанное на чье-либо сочувствие и одобрение, а обыкновенное состояние директора, норма, а стало быть — его жизнь. И это вызывало глубокое уважение к нему.

Я не был в районе, когда хлебобобы выбирали Алексея Ивановича своим депутатом в Верховный Совет республики. Но мне рассказывали, что в этот день он ходил по центральной усадьбе празднично одетым и... каким-то растерянным, не похожим на самого себя. Его впервые видели без дела! И это было непривычно ни для него, ни для людей.

Тот давнишний мой очерк заканчивался впечатлениями о нашей с ним поездке по совхозным полям. Был вечер. За окном «Волги» хлопьями валил первый осенний снег. А в машине было тепло и уютно, плыла музыка — передавали какую-то оперетту. Алексей Иванович сидел рядом с шофером, прислушивался, о чем-то думал своим и изредка поглядывал за окно на побелевшие вдруг поля.

— Помнишь, как мы начинали тут? — вдруг обернулся он ко мне. — Сейчас ничего похожего не осталось...

И начинал неторопливо рассказывать о делах совхоза. Рассказ прерывался очень длинными паузами — может быть, в эти минуты Алек-

сей Иванович вспоминал весь путь совхоза, а может, перебирал в памяти последние недоделки, которые необходимо устранить до наступления зимы. Машина долго тогда кружила по полям. И так же от темы к теме кружил и наш разговор. Алексей Иванович, помню, рассказывал о том, как удалось совхозу получить самый дешевый в республике хлеб, о том, что наряду с полеводством для большей рентабельности надо развивать животноводство, что отделения совхоза, которые строили в первые годы освоения целины, теперь выгоднее ликвидировать, а всех рабочих перевести на центральную усадьбу — в то время это было новым веянием.

На центральную усадьбу мы тогда вернулись поздним вечером. И только после ужина за шахматной доской я заметил, каким усталым был Алексей Иванович. Усталым и сильно-сильно поседевшим. Мы играли без азарта, вяло. Алексей Иванович сел за доску, видимо, только потому, что ему не хотелось больше разговаривать, хотелось посидеть молча. Он передвигал фигуры, а думал, видимо, о другом. Я не затевал больше разговора и не мешал ему думать. И все-таки он заговорил первым.

— Шестой год не был в отпуске. Нет, не потому, что считаю себя незаменимым, что без меня здесь дела останутся. Нет. Просто как-то так получалось: все некогда было, все забывал, а хватился — шесть лет прошло! Нынче надо непременно отдохнуть...

А в семь утра он снова был на ногах. В пустой конторе, где уборщицы заканчивали мытье полов, он уже звонил по телефону, уже кого-то распекал, уже выслушивал доклады управляющих отделениями — начинался обычный очередной трудовой день. И опять Алексей Иванович был энергичным, опять горел, опять вокруг него были люди. И я подумал: а ведь и нынче забудет про отпуск...

Так заканчивался мой давнишний очерк об Алексее Ивановиче Каманине. Позже Алексей Иванович был директором птицефабрики в Павловском районе. Оттуда и ушел на пенсию. Ушел и тут же вернулся — стал работать председателем сельского Совета.

Много лет назад в Горном Алтае по дороге на Усть-Кан мне довелось видеть где-то в районе Камлака или Черги интересное явление: у самого тракта около большого куста смородины из сугроба густым облаком поднимался пар. Он поднимался от горячего источника, бьющего из подножия гор. Мизерный родничок — весь суточный запас горячей воды лишь на небольшую прачечную — а как меняет пейзаж! Кругом огромные сугробы, заиндевевшие деревья, а здесь, на небольшой проталине, круглый год весна, круглый год удивительно нежно зеленеет молодая травка. Ее не берут никакие морозы. Она согрета этим неиссякаемым живительным родничком, пробившимся из самых глубоких недр земли сквозь растрескавшиеся камни. Рассказывают, что этот родничок имеет какие-то целебные свойства, и местное население лечится здесь от многих болезней. И вот вдруг показалось мне, что между тем родничком и Алексеем Ивановичем, который так же выносит людям из самых глубоких недр жизни живительный родник своей души, есть что-то общее. И жизнь вокруг него, вокруг людей, подобных ему, как вокруг того целебного родника, идет по-другому, живо и молодо.

* * *

Ну а что же бумажник Алексея Ивановича, тот самый, который довелось мне тогда увидеть? Говорят, старый гвардеец все еще с ним не расстается, носит при себе... Хотя я слышал, что Каманин снова на пенсии. Однако уверен: не усидит, опять найдет себе дело. Таких людей, наверное, не берет ни старость, ни время. А не берет, видимо, потому, что они нужны людям.

3. ПРАВИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК БИТИЕВ

Мы сидим друг против друга уже седьмой час. В пепельнице гора окурков. В комнате то ли от папиросного дыма, то ли от надвигающихся сумерек сизо. А мы все разговариваем. Мой собеседник молодой, красивый мужчина, черноволосый, с длинными мохнатыми ресницами и большими цепкими серыми глазами. Это — Моисей Григорьевич Битиев. Он — истый горец: горячий, темпераментный, говорит немногословно, но образно. Слушаешь его и перед глазами встает живописная панорама Кавказа — родины Битиева.

Видишь село, расположенное между двумя реками в долине. Кругом хвойные леса. А вершины гор белые. На горах вечные льды. Летом оттуда тянет прохладой. А с Черного моря наносит дожди. Засух здесь не бывает. Народ здесь хороший, трудолюбивый — подумай только: кругом голые скалы, а здесь выращивают виноград. Во время летних каникул — Моисей Григорьевич помнит это до мельчайших подробностей — они, ребяташки, тоже поднимались со взрослым народом в горы и тоже работали на виноградниках. Отец у Моисея Григорьевича был председателем райисполкома. Но сын его рос в колхозе вместе со всеми сверстниками. Поэтому любил ходить на виноградники работать. А вечером спускались с гор уставшие, но довольные, веселые. Купались в море.

Что может быть прекраснее такого детства!

Когда учился еще в третьем классе, посадил на голой скале абрикос. Вырос. Давно уже плодоносит. Брат посадил рядом с его абрикосом грушу. Уже большие деревья, в полную силу плодоносят. Может, все это потому так врезалось в память, что, когда вырос, не пришлось поработать на винограднике в горах. Он учился в Орджоникидзенском учительском институте, когда обрушилась на него страшная весть о гибели отца.

Отцу и до этого часто приходилось ездить по ночам верхом — не везде на машине проедешь. В ту ночь он возвращался с секретарем райкома партии с колхозного собрания. На узкой горной тропе конь оступился задними ногами. Чтобы помочь коню удержаться на тропе, отец высвободил ноги из стремян и свалился с седла. Внизу была пропасть...

Мать осталась с шестерыми детьми. Учиться дальше или не учиться? Как жить семье?

На семейном совете, на который пришло полсела, решили: парню все-таки надо закончить институт.

— А семье — поможем!..

После института Битиева направили на Алтай в Сидоровскую среднюю школу Романовского района.

Битиев любит рассказывать об этом.

— Приехали ночью. Утром поднимаюсь, думаю, пойду в родниковой воде помоюсь. Смотрю: кругом голая степь! И это после родных-то гор. И такое было у меня подавленное настроение — думаю: ни за что здесь не останусь. Непременно уеду.

Но прошел день, другой... неделя. На августовской конференции встретились с другом, который был направлен в село Мормыши, и уже договорились:

— Давай будем уезжать. Ничего тут хорошего нету...

А через месяц директор школы говорит:

— Давай покупай себе валенки, шапку.

(Молодой учитель приехал по-кавказски одетым.)

— Не буду покупать, — говорит Битиев. — Зачем они мне? Вот дождусь разрешения — и уеду.

А по утрам уже морозец стал все сильнее. Тогда директор школы поехал в Закладное, купил валенки, шапку: надевай, говорит. А пальто

подходящего в сельпо не оказалось. Выручил один из учителей — Иван Борисович Котт, с себя пальто снимает, говорит: давай носи, а то пропадешь здесь...

Может быть, и уехал бы Битиев на родину, если бы не появилась в школе новая учительница географии Валя Кандаурова, черноглазая, острая на словцо. Что-то знакомое, родное увидел в ней молодой учитель. Или неутомимая энергия и веселый нрав напомнили ему родную Осетию, или карие, смешливые глаза были так покоряющи — дрогнуло горячее сердце горца. Решительный, смелый, он терялся и краснел в присутствии Валентины Степановны. Девушка замечала это, иногда подшучивала над ним:

— У вас в Осетии все такие — краснеют перед девушками?

Битиев краснел еще больше. Но не сдавался:

— Я не краснею... Это у меня загар.

Иногда они уходили в степь, и тогда, наедине, немногословный учитель истории вдруг загорался, начинал говорить:

— Вы никогда, Валя, не были на Кавказе? О-о! Грузия, особенно Осетия — это жемчужина земли. Какие там горы! Какие виноградники! Какое там солнце! Такого солнца нигде нет.

— Вы мне нахваливаете Осетию, словно хотите украсть меня и увезти туда...

— Зачем красть? Это наши предки увозили тайком своих невест. Мы с вами и так найдем общий язык.

— Вы в этом уверены?

— Вы не знаете горцев! Если осетин захотел — значит, он добьется своего.

— А вы не знаете сибирячек...

— Сибиряков я уже узнал — хороший народ. Такие же, как горцы — душевные, последнее снимет и отдаст человеку. А вот земля здесь голая. Нет гор, нет виноградников... А без гор, без виноградников разве это земля, разве можно жить на такой земле?..

А оказалось, можно. Когда вспыхнула любовь — жаркая, как кавказское солнце, вдруг совсем по-другому стал смотреть Битиев на степь, на суровую сибирскую зиму. Все в мире приобрело свой особый оттенок.

Любовь — это когда в капле росы видишь вселенную, когда все люди кажутся счастливыми...

Тоска по родным местам стала постепенно утихать.

Женился.

Привыкший с детства к труду, Битиев душу вкладывал в школу, вел общественную работу — сказывался пример отца, — помогал местному колхозу, изучал русский язык — словом, было, куда приложить избыток энергии. Вступил в партию. А немного спустя райком партии рекомендовал молодого энергичного учителя секретарем парторганизации колхоза в Гилев Лог — в родное село Валентины Степановны.

А здесь работы непочатый край. Шло время. Село видело, как горел на работе новый секретарь. И когда райком порекомендовал Битиева в соседнюю артель имени Жданова председателем, колхозники с радостью приняли его.

А на второй день после собрания к Битиеву пришли все заведующие фермами и в один голос заявили:

— Нет кормов.

Битиев собрал экстренное заседание правления.

— Товарищи, дело очень серьезное, — сказал он взволнованно, — давайте посоветуемся.

Правленцы, привыкшие не волноваться по такому «пустяковому» делу, как нехватка кормов, — с испокон веку его не хватало, корма-то,

государство не даст пропасть — с интересом смотрели на темпераментного горца, принимавшего все близко к сердцу.

— Надо ехать в район, просить.

— Правильно. Вы председатель новый — должны на первых порах помочь.

— Мы тут почти все, кто сейчас в правлении, были когда-то председателями. Изберут тебя, сразу же едешь в район — на первых порах помогают там. Скот-то общественный, пропасть не дадут.

Горячий, вспыльчивый Битиев не вытерпел:

— Да вы что!? Вы думаете, у секретаря райкома под столом скруды стоят?

Но тут же спохватился, поняв, что горячностью дела не поправишь, добавил:

— Нет, товарищи, так дальше жить нельзя. На шее района сидеть мы не можем и не будем!

Бригадир Котенев, который даже на заседание правления пришел выпивши, не без ехидства спросил:

— А на чью же шею теперь сядем?

— На ноги будем становиться, на свои ноги, — отрезал твердо Битиев.

Знал Битиев: трудно, очень трудно становиться на ноги тому хозяйству, где на государственных подпорках все — и полеводство, и животноводство, и строительство (собственно, строительства-то никакого в то время в хозяйстве не было, хотя потребность в нем была, ибо все рушилось). Знал и другое: один он ничего не сделает, нужны помощники. Начал присматриваться к людям. И помощники нашлись — в каждом хозяйстве, даже в самом отсталом, есть люди, которым общественное дело близко к душе и за которое они болеют, как за свое собственное, есть люди, которые верят в свои силы и в силу коллектива. Такими здесь оказались тракторист Буценко, бухгалтер колхоза коммунист Горовой, доярка Мария Горохова, механизатор Михаил Мамаев. Они стали первой опорой молодого председателя.

Начали с заготовки кормов.

— Солому надо выкапывать из-под снега, — сказал Буценко.

— Ты что-о!? — всплеснул руками завфермой Дьяченко. — Ты побачь, шо на двори! Добрый хозяин собаку из хаты не выгонит у таку погоду.

— У доброго хозяина корма на всю зиму завезены. Чего уж нам равняться на добрых-то хозяев...

В колхозе на тысячах гектаров осталась под снегом неубранная солома. Ее и стали добывать. Ежедневно в любую погоду группа энтузиастов во главе с Битиевым отправлялась на тракторах в степь. Зима в тот год была снежной. Пурга и метели не прекращались неделями. В степи света белого не видно — несет и сверху, и снизу. А люди работали. Рукавицы примерзали к навильникам, рта раскрыть нельзя, лицо покрывала панцирем корка льда, а добытую с таким трудом солому ветер норовил вырвать из рук и разнести по степи. Но товарищи Битиева своими телами прижимали ее к саням, увязывали веревками. Ни по какому приказу, ни за какую плату не поехали бы люди добывать такой корм.

Но люди поверили в нового председателя, поверили его убежденности, что дела и у них пойдут хорошо.

А зима тянулась и тянулась. Казалось, конца-краю ей нет. И все-таки выстояли в ту зиму, падежа не допустили. Когда же весной Битиев заговорил о настоящей кормовой базе на будущее, его поддержали все. Тракторист Алексей Буценко, ездивший с Битиевым на своем тракторе за соломой, первым создал механизированный отряд. В тот год он снял со своего участка по триста центнеров кукурузы с гектара.

Но не только корма были заботой молодого председателя. Глав-

ной заботой у него был поиск нового стиля, новых форм руководства хозяйством. Он понимал, что надо заменять таких руководителей, как бригадир Котенев, который, что называется, не «просыхает» от пьянки, как заведующий свинофермой Дьяченко и некоторых других, кто привык работать по-старинке.

Бригадир Котенев, почувствовав, что над ним нависла гроза, что вот-вот снимут его с работы, запил в открытую. Битиев принял это как вызов «старого» руководства к нему, к новому руководителю. Собрался и поступить соответственно — жестко. Но тут заступился Буценко:

— Вы его, Моисей Григорьевич, сильно-то не обвиняйте...

— Как то есть не обвинять — запустил работу, пьет беспорядно!

— Не на месте человек. Помню, когда его ставили, он отказывался. Не послушали — назначили бригадиром. Поперва старался. Но не получилось. Вот и махнул рукой, пить стал.

И все-таки через два дня на заседании правления Битиев настоял на том, чтобы Котенева снять с работы. Сняли. Назначили Алексея Буценко.

Перед самой уборкой в колхозе появился уволенный в запас солдат Кондрат Брем. Его воинскую дисциплинированность председатель решил использовать на току. Кондрат стал заведующим током. И сразу же Битиеву посыпались... жалобы шоферов.

— Неправильно пишет километры, Моисей Григорьевич. Занижает. Мы — по спидометру, а он не верит. Вот же спидометр!

Брем с невозмутимым спокойствием отвечал:

— Спидометр можешь своей бабушке показать. А мне очки втирать нечего. Я тут родился, поэтому не то что километры, каждый бурок во всей округе знаю. А потом, кого ты обманываешь, самого себя?

Битиева радовало, что зерно попало в надежные руки.

Теперь самым отстающим участком в колхозе оставалась свиноферма. Поэтому председатель, несмотря на горячую пору уборки, все чаще и чаще стал заезжать сюда.

— Я вам вчера сказал, чтобы перенесли лагерь на другое место, — изо всех сил стараюсь быть спокойным, говорил Битиев Дьяченко. — Здесь же грязи по колено.

Пряча в морщинистых веках недобрые искорки глаз, Дьяченко прикидывался:

— Свинья, она, товарищ председатель, с древности в грязи произрастает. Грязь — это ее стихия, как говорят ученые люди.

Вся эта рутина, доставшаяся Битиеву в наследство, невидимыми нитями связывала нового председателя по рукам и ногам, сдерживала на каждом шагу. Были минуты — сейчас что уж таять! — когда Битиеву казалось, что он не выдержит. Но об этом знала только его жена, только одной ей жаловался иногда:

— Знаешь, Валя, может, зря я согласился стать председателем? Не ладится у меня...

— Ну вот, здорово живешь! Перед первыми же трудностями и руки опустил. Разве так можно?

Он теревил густую шевелюру черных волос, вздыхал:

— Знаю, Валенька...

А утром Битиев снова с головой уходил в работу. Во все вникал, везде успевал, всюду вмешивался. Вслед за Котеневым убрали и Дьяченко. Заведующим свинофермой назначили Кондрата Брема. А дня через два вечером тот зашел к Битиеву.

— Не справляюсь я, Моисей Григорьевич. Не за что там ухватиться. Не ферма, а сплошной кошмар. Не знаешь, с чего начать. Работать как работали, нельзя. Это ясно. А как перестраивать по-новому — не знаю. Никогда со свинофермой дела не имел.

— Я тоже никогда председателем колхоза не был. А вот работаю, учусь.

— Разве я отказываюсь учиться! Но у кого?

— О Беловском совхозе слышал?

— Слышал.

— Вот и поедешь туда за опытом. Учиться поедешь...

Вернулся Брем веселым, улыбающимся как-то загадочно, словно он узнал то, о чем никому в колхозе неизвестно. За несколько дней новый завфермой разломал в свинарниках все клетки, разбил свиней по возрастам, отделил хряков — словом, сделал то, что сейчас считается самым обычным, а тогда, в те годы, в колхозе о таком ведении животноводства понятия не имели. Ввел отдельно-цеховое содержание, туровые опоросы, стал использовать разовых свиноматок из молодняка, предназначенного для сдачи государству на мясо. И за первый же год поголовье свиней увеличилось чуть ли не в три раза. Колхоз впервые выполнил свои обязательства по поставкам мяса. Это было первой большой победой.

Перестраивая ведение хозяйства на новый лад, Битиев рос и сам. Роль и обязанности председателя он стал видеть уже в другом: больше, как можно больше поработать с людьми. В этом он убедился еще раз, когда поближе познакомился с Ильей Котеневым, бывшим бригадиром и самым ярким противником всех председательских новшеств. Оказалось, что у обоих одна страсть: оба любят коней. Тогда и предложил Битиев:

— Слушай, Илья Иванович, может, ты пойдешь конюхом? Я смотрю, ты все время около конюшни крутишься. А?

У Котенева в глазах появилась радостная растерянность.

— Признаться, я давно хотел к вам зайти, Моисей Григорьевич, поговорить об этом. Страсть как люблю коней... А бригадирство — это было, конечно, не по мне.

Так налаживался большой и сложный колхозный механизм. Был обновлен и главный двигатель этого механизма — правление. В состав его вошли люди энергичные, инициативные, такие, как Алексей Буценко, Кондрат Брем, доярка Мария Горохова, тракторист Михаил Мамаев...

Меняется лицо колхоза, растет и председатель его. Я помню, в тот вечер Битиев, улыбаясь, говорил мне:

— Я стал чувствовать себя уже настоящим сибиряком. Когда в прошлом году ездил домой в отпуск, пробыл две недели, чувствую, что скучаю по Алтаю. Не дожидаясь конца отпуска, поехал. Еду. К Уралу подъезжаю и чувствую: суровое что-то надвигается, что-то громадное и величественное надвигается — Сибирь наступает, уже мое наступает... И мне кажется: вот и моя родина, мой дом!

И хотя Моисей Григорьевич по-прежнему очень любит напевы родной Осетии, у него появилась и другая любимая мелодия — «Песня о Ермаке».

Сверкая ослепительно белыми зубами, Битиев шутит:

— Ермак покорила Сибирь. А Сибирь покорила меня!..

И вот прошло много лет — прошло пятнадцать лет! — мы снова сидим друг против друга теперь уже в кабинете председателя районного комитета народного контроля, сидим уже больше часа. Но теперь перед нами нет пепельницы, переполненной окурками. Я не курю совсем, Битиев, видимо, только в минуты сильного волнения — за все время разговора он покурил один раз, украдкой стряхивая пепел в стоявшую на окне за шторой мизерную пепельницу. Сидим, смотрим друг на друга и ничего не говорим об изменениях. Конечно, изменились мы оба. Может быть, я — больше, он — меньше. Вообще-то он изменился мало. Ну, может быть, шевелюра заметно поредела, немножечко поседела. А глаза такие же большие, умные, подвижные и цепкие. Такой

же он поджарый — даже, может, еще более подтянулся, еще больше высушился на степных ветрах, еще больше задубела кожа. Морщины больше появилось около глаз.

Смотрю я на него и думаю: чем покорила меня этот человек? Мы встречаемся всего лишь второй раз в жизни. И вроде бы никаких подвигов он не совершал, чтобы мои журналистские дороги пересеклись с его трудовыми. Сказать, что есть у нас что-то общее в характере, что бы связывало нас дружбой, — этого не скажешь. Разные мы люди. Дружбы никогда между нами не было. И пути у нас разные. А вот вспомнил я о нем через пятнадцать лет. Не только вспомнил, а приехал за две сотни километров к нему, чтобы просто вот так беспредметно, — да нет, наверное, не беспредметно, а с интересом, с целью написать о нем теперешнем — посидеть и поговорить с ним, а точнее, послушать его. Слушать его — одно удовольствие. Об обычных производственных делах он рассказывает так вдохновенно, так увлеченно и до того интересно, что слушать его можно и час, и два, и больше. Должно быть, он один из тех, кого называют хорошим словом: одержимый. Есть в нем что-то заражающее и заряжающее тебя оптимизмом...

Он из тех, которых интересно слушать независимо от их образования, от их профессии. Интересно слушать, видимо, потому, что у него есть своя, его собственная точка зрения на самые обычные, всем знакомые события и явления. Вот и Моисей Григорьевича, наверное, интересно слушать потому, что верует он в дело, которым занят, которое делает до такой степени, что убежден: лучше его это дело не сделает никто. И он наверняка из тех, кто не делает свое дело наполовину. И при этом он не противопоставляет себя всем остальным работающим и живущим рядом с ним, нет. Он не бравирует своей всеми уже признанной честностью, о которой в районе ходят легенды.

Рассказывают, что будто однажды браконьеры никак не могли поделить между собой добычу. Спорили:

— Как будем делить: по закону (надо полагать, своему, браконьерскому) или по совести (тоже своей, браконьерской, должно быть)? — спрашивал главарь, надеясь пожить и в том, и в другом случае.

Самый шуплый из них, которого, видимо, часто обижали при дележе, говорит:

— Нет, не по закону, не по совести, давайте лучше поровну...

Но тут подплыл на лодке народный контролер и, посмеиваясь, сказал:

— Поровну — тоже будет несправедливо. Делить будете по-битиевски: кто что заслужил, тот то и получит...

Беспощадность к недостаткам человека — это и есть товарищеское отношение к нему. Так считает Битиев.

— И самое удивительное, — говорит мне Моисей Григорьевич, — друзья не обижаются. Бывает, на один, на два месячных оклада штрафую — все равно не обижаются.

— Значит, настоящие друзья, — говорю я ему, — значит, понимают.

— Конечно, настоящие. Но ведь нарушения и злоупотребление делают не одни друзья... — смеется. — Недруги тоже не обижаются, когда их прижимаю. Наверное, должность у меня такая, нельзя обижаться на меня — народное добро поставлен я оберегать...

И он рассказал удивительную историю.

Руководитель одного из крупных хозяйств в районе, ощутив в руках бразды правления, вдруг возомнил себя неподотчетным и бесконтрольным. На виду у всего села (что ему общественное мнение!) начал торопливо и жадно благоустраивать свою личную жизнь. Едва переехав в новый, только что построенный дом, он велел перекрыть крышу — не понравились ему доски, понравился шифер; велел сломать только что сделанную изгородь и загородить ограду заново так, как его жене нравилось. И все это не за свой, нет — за совхозный счет!

Деревня смотрела удивленно на все это. Даже сосед-алкоголик, который всегда был равнодушен ко всему, кроме выпивки, и тот подошел как-то к Битиеву и спросил:

— Разве так можно?..

А у рьяного хозяйственника голова шла кругом лишь от одной мысли, что он все может, стоит лишь приказать. И он приказывал. И согласно этих приказаний во время субботника на государственных машинах рабочие совхоза вывозили с его двора строительный и прочий хозяйственный мусор; конюх совхозной столовой тоже на глазах всего села привозил на квартиру продукты середь бела дня. Но тут уж приказы были не его, а его жены, работавшей заведующей этой столовой...

Грань между понятиями «мое» и «государственное» стиралась. Директор даже в баню ездил на служебной машине.

А в это время в хозяйстве царил запущенность. Когда народный контроль начал пересчет скота в хозяйстве, то обнаружил на свиноферме более пятисот лишних свиней, не числившихся по документам...

Конечно, мимо всего этого районный комитет народного контроля не прошел. И этот рьяный руководитель получил по заслугам.

В районе острят по поводу битиевской беспощадности к малейшей бесхозяйственности — знают, виновный всегда будет наказан, непременно будет оштрафован кто на один, кто на два, на три оклада. Так и говорят:

— Получил битиевскую премию...

В этой пятилетке народные контролеры Романовского района взяли своим главным направлением борьбу за бережное отношение к социалистической собственности — хозяйское отношение к энергоресурсам, особенно к горючим материалам и электроэнергии.

Битиев рассказывает:

— На маслозаводе спрашиваю: сколько на центнер масла и сыра тратите электроэнергии? Не знают. Разве так можно работать?

И еще. В колхозе имени Ленина, где Моисей Григорьевич начинал свою трудовую деятельность учителем полтора с лишним десятилетия назад, выстроены не скотные дворы, а прямо-таки хоромы — в них тепло, светло, сухо. Силоса на две с половиной зимы заготовлено. Механизация есть. И вдруг начал скот падать — пятьдесят голов крупного рогатого скота и восемьдесят свиней пало за зиму.

Районный комитет народного контроля сразу же послал туда опытных контролеров. Были вскрыты причины. Виновники наказаны.

Битиев, словно подводя итог, говорит:

— Некоторые считают, что это плохо, когда народных контролеров боятся. А мне кажется наоборот: это хорошо. Боятся ведь тот, кто грешки за собой чувствует...

А я мысленно добавил: «Хорошо, когда во главе этого органа стоят такие, как Битиев...»

Я уезжал из Романово в тот же день. Только что выпал последний мартовский снег, рыхлый и чистый. Дорога была ослепительной. Лучистый снег резал глаза. Можно было — того и гляди — съехать с насыпи. Поэтому я не гнал машину, ехал не торопясь. Перебирал в мыслях разговор с Битиевым. Думал: изменился ли этот человек? Да, конечно. Ничего не осталось от того, еще не совсем уверенного председателя колхоза, с которым мне довелось познакомиться пятнадцать лет назад. Сейчас это умудренный опытом, вдумчивый, приучившийся к осмотрительности человек. Он понимает: ему торопливость не нужна, ему ошибаться никак нельзя, ибо по его действиям и поступкам люди судят о справедливости нашей Советской власти.

И я мысленно решил: хороший человек Битиев, правильный человек.

4. ПАМЯТЬ ЛЮДСКАЯ

Я стоял над могилой, зажатой огромными сугробами, и думал. Думал о бренности всего земного, думал о памяти людской, о том, что вот прожил человек жизнь (неважно, короткую или длинную) и теперь, казалось бы, ему все равно — что тут, над этим могильным холмиком происходит.

Неужели все равно?

А мне не все равно. Я, едва приехав в Мамонтово, направился сюда, к этому запорошенному холмику. И людям, которые до меня протоптали дорожку к этой могиле, видимо, тоже не все равно. Пока человек живет, ему ничто не безразлично. Безразлично и то, придут к нему потом на могилу люди или не придут, будут помнить о нем или не будут.

Александр Кириллович Щербаков прожил свою жизнь с пользой для людей. Поэтому людям и дорога память об этом человеке.

Я знал его много лет. Мы работали с ним в одном районе во времена подъема целины, и хотя не были близкими друзьями, отношения наши были обычные, какие бывают между редактором районной газеты и председателем райисполкома. Многие годы я чувствовал его влияние на себе даже после того, как мы разъехались и подолгу не встречались. Было в этом человеке что-то заражающее других — крутая сила оптимизма исходила от него. Нет, он не был таким штатным бодрячком, у которого на все случаи жизни один рецепт: «Давай, давай!», дескать, меньше рассуждай, больше делай. Нет, это был человек вдумчивый, человек, которому были ведомы секреты человеческой души.

Представьте себе высокого, седого, грузнеющего человека, с подвижными морщинками около глаз, шумного, по-молодому энергичного, остроумного, по-стариковски мудрого и заботливого — таким я встретил в год освоения целины председателя Романовского райисполкома, таким он и остался до конца своих дней, еще на целых два с лишним десятилетия.

Тогда мне рассказывали: первое, что Александр Кириллович сделал в районе, когда приехал туда, — провел воскресник по благоустройству районного центра. Сам вышел с лопатой и, засучив рукава, работал целый день в общественном саду. Сам вбивал колышки и тянул визирную бечевку, намечал, где установить изгородь, не чурался никакой самой черной работы. Копал ямы и траншеи для посадок. Поэтому (и только поэтому!) Романово сейчас одно из самых озелененных сел Кулундинской степи. Правда, после того, первого, воскресника было проведено очень много мероприятий по благоустройству. Но ведь важно начать, важно привить вкус у людей к хорошему.

Все свои долгие годы работы Александр Кириллович отдал осуществлению своей заветной мечты: созданию людям красивой и хорошей жизни.

Еще в Мамонтовском районе, где он до приезда в Романово работал первым секретарем райкома партии, была сделана методом народной стройки километровая плотина через озеро в райцентре, посажен и выращен огромный сад. Сейчас эта плотина — гордость мамонтовцев. До самых последних своих дней на эту плотину ходил рыбачить вместе с другими пенсионерами и Александр Кириллович. Конечно, было что вспомнить этому человеку в такие минуты на склоне жизни: и то, что здесь, в Мамонтове, еще до подъема целины был построен первый на Алтае механизированный колхозный ток, его снимала кинохроника и пропагандировала по всей Сибири; и то, как внедрялась раздельная уборка урожая, когда самому ему приходилось садиться на первый лафет и кружить по полю во главе бригады. Да разве только это вспоминается на пенсии! Сейчас многое из этого стало обычным,

заурядным, само собой разумеющимся, а ведь когда-то кто-то первым начинал, когда-то такие, как Александр Кириллович Щербаков, стояли у истоков этих дел, отдавали этому свои жизни.

Когда Александр Кириллович приехал на работу в Романово, там не было электричества даже в райцентре. Я помню, на конном дворе райисполкома установили автомобильный двигатель с небольшим генератором. Правда, это далеко не выход был из положения, но на первый случай центральная улица уже получила свет. А потом были построены типовая электростанция, баня, затем кирпичная двухэтажная школа, универмаг, столовая, современный кинотеатр, выросло несколько новых улиц.

Все это лишь беглое перечисление результатов кропотливого, повседневного труда председателя райисполкома. Разве сейчас передашь, сколько бессонных ночей, какой энергии стоило все это! Разве расскажешь, как этот неутомимый романтик, неистощимый мечтатель разжигал, будоражил в людях хорошие чувства творцов, созидателей! С какой поистине поэтической взволнованностью говорил он, например, о строительстве общественной бани! Как изыскивал материалы, средства. Помню, как он собственноручно закладывал первый камень в фундамент, как за все время строительства не было дня, чтобы Александр Кириллович не зашел на стройку. И когда наконец баня была сдана в эксплуатацию, он первый вместе со строителями пошел в нее париться.

Так строилась баня. Так строилась школа, так строилось все в районе. И вообще в те годы почти все строилось на энтузиазме. Не только в Романове. Не только в Солтоне. Такое было время. Такие были люди.

И когда в 1954 году в район приехали на освоение целины сотни молодых энтузиастов, они нашли в Александре Кирилловиче своего единомышленника и товарища. Вместе с директором целинного совхоза Алексеем Ивановичем Каманиным Щербаков ездил по полям, выбирал место для нового совхоза, вместе с ним вбивал первый кол на будущей центральной усадьбе. Вместе с приехавшей молодежью он поднимал целину, выращивал невиданный урожай первого целинного года.

Как-то в один из своих приездов в Романово (когда я уже там не работал) зашел я к Александру Кирилловичу в кабинет, поговорили о том о сем, о делах районных, о жизни, которая все набирает и набирает темп и за которой надо гнаться. Потом он пригласил меня домой — не то обедать, не то ужинать (наверное, все-таки ужинать, потому что мы долго сидели, и он рассказывал про свою жизнь).

Я слушал его и удивлялся: как время накладывает свой отпечаток на судьбы людей. Те, кто родился в канун века и к началу революции имел совершеннолетие, завоевывал Советскую власть, наиболее активные из них стояли во главе первых коммун и сельских Советов. Александру Кирилловичу в канун Октябрьской революции исполнилось только двенадцать лет. Он не участвовал в гражданской войне, не гонялся за бандами в войсках ЧОНа, но зато пятнадцатилетним он вступил в коммуну, работал в комбеде. А до этого батрачил у кулака. Таково уж было его поколение. Такова судьба была уготована этому поколению.

Помню, с особым теплом рассказывал Александр Кириллович о службе в Красной Армии. Там он прочно стал на ноги. И опять же — не одного его, многих его сверстников в те годы Красная Армия ставила на ноги. Там он учился грамоте, там он получал первую политическую закалку. Двадцатипятилетний взводный Александр Щербаков, вернувшись с действительной службы на Алтай, был избран председателем колхоза. Потом его избирали председателем сельского Совета, директором льнозавода (тогда и на директорские должности избирали).

Был он заместителем председателя, а потом и председателем райисполкома, заведующим краевым отделом коммунального хозяйства. Все это — до войны.

Воевать ему не пришлось — в сорок третьем году был избран первым секретарем Мамонтовского райкома партии и возглавлял районную партийную организацию в течение десяти лет — до самого подъема целины. А поднимать целину переехал в Романовский район.

В тот вечер Александр Кириллович показал мне открытку, на которой изображен ток с огромным ворохом зерна. Эту открытку прислал ему в канун Нового года тогдашний министр сельского хозяйства. На обороте он писал, что помнит такие же огромные бурты хлеба в Романовском районе в ту легендарную осень пятьдесят четвертого года — первого года освоения целины. Мы с Александром Кирилловичем тоже вспоминали тот тяжелый, но замечательный год, те самые бурты золотой пшеницы.

За селом на площади в десяток гектаров был расчищен ток. Огромные, с двухэтажные дома бурты золотой пшеницы вытянулись в несколько рядов. Сколько нужно было энергии, чтобы не только вырастить, собрать, но и сохранить, сдать государству такое количество зерна! Помню, Александр Кириллович по несколько суток подряд не уходил с этого, возникшего в степи, пункта «Заготзерно». До тысячи машин в день отправлялось тогда с зерном на станцию железной дороги. Но осень не ждала. Дожди надвигались неумолимо. Миллионы пудов зерна требовали не только глаз да глаз, но и множества рук, — именно рук, потому что механизмов почти не было, а зерно надо проветривать, постоянно охлаждать. Тогда там, в Кулундинской степи, и появилось крылатое выражение: «Держать хлеб на лопатах!» В районном центре прекратили работу почти все учреждения. Все работники — любых чинов и рангов — были в Заготзерне, все работали в те дни только лопатами. Почти в любое время суток там можно было встретить и Александра Кирилловича, обычно с лопатой в руках. Несколько раз я видел, как он, вымотанный до предела бессонными ночами, нервным напряжением, передавал кому-нибудь лопату и устало брел в досчатую конторку, чтобы, навалясь грудью на стол, вздремнуть часок-другой. И сидел, покачиваясь, огромный, седой.

До такого изнеможения мог работать только человек, полностью, до конца отдающий себя делу. Вот об этих днях и об этих буртах хлеба и вспоминал министр сельского хозяйства республики, о днях, полных тяжелого труда, подвигов и героизма.

Александра Кирилловича Щербакова трудно было представить в одиночестве, без людского окружения. Я много раз по долгу работы бывал с ним вместе в командировках внутри района. Когда он приезжал в какое-либо хозяйство, будто с ним вместе подключался туда дополнительный источник энергии — так все начинало там крутиться, вертеться и двигаться. Оживало все — становилось шумно и... весело. Да, он любил острое, веселое словцо. И вообще он все делал в полную силу — и работал, и говорил. Его голос, сильный, темпераментный, слышен издали. Еще издали, услышав его голос, люди начинают улыбаться:

— Вон Кириллыч приехал. Опять бушует...

Нет, его не боялись в районе. Его уважали. Любили. Берегли. Берегли потому, что он сам не щадил себя. Выступал он всегда возбужденно, на полном накале. И всегда после выступления (будь то на бюро райкома, на исполкоме или на более расширенном собрании) он отходил в сторонку и тут же закуривал, — ему позволялось — и все видели, как у него тряслись руки, и он не мог попасть мундштуком в рот. Когда он закуривал, все смотрели на него и только на него. Добрый и шумный Кириллыч! Он горел у всех на виду, горел для людей, для общего дела.

Чтобы хоть сколько-нибудь полнее подать характер Александра Кирилловича, хочется сделать некоторое сопоставление. В те годы секретарем райкома партии был человек осторожный... слишком осторожный (не хочется сказать большее). А отсюда и все речи его были такими же обтекаемыми, сверххлояльными, не конкретными. И вот в связи с этим припоминается случай, который в районе до сих пор помнят, спустя два с лишним десятилетия.

Перед началом одного из очень ответственных совещаний секретарь райкома решил посоветоваться с Щербаковым о порядке выступлений (они оба только что вернулись из краевого комитета партии — по-моему, была горячая пора уборки):

— В начале, пожалуй, я выступлю, а потом — вы. Не возражаете?

Александр Кириллович сидел задумавшись, машинально кивнул:

— Да... Эт-самое дело... Давай говори. А я потом — конкретно...

Эта непреднамеренная оговорка вызвала взрыв дружного смеха партийного актива. С тех пор по поводу всякой демагогической говорильни в районе шутят: давай говори, а я потом — конкретно...

Этого секретаря давным-давно нет в районе. И о нем почти не вспоминают даже старые работники. Действительно, чем добрым помянут люди руководителя, который даже в горячую пору уборки из любого конца района точно в установленный час приезжал домой на обед!..

Вспоминается и другой случай. На одной из районных партийных конференций начальник какой-то районной конторы резко критиковал первого секретаря райкома, райком партии в целом, райисполком. Но когда он по каким-то личным мотивам к нерадивым руководителям причислил и Щербакова, зал зашумел. Оратору не дали кончить свою речь. После него один за другим делегаты поднимались на трибуну, возмущались беспардонным заявлением своего товарища и требовали, чтобы он с этой же трибуны извинился перед Александром Кирилловичем. И — заставили. Извинился.

Обо всем этом, может, и не стоило бы упоминать, если бы здесь не было более глубокого смысла, чем покажется на первый взгляд. Смысл этот — в истоках авторитета и популярности общественного деятеля, работника партии.

В один из недавних своих приездов в Романово летом я проходил по центральной улице мимо редакции и невольно остановился, залюбовавшись огромными кленами. Эти клены два десятка лет назад сажал я. Сажил своими руками потому, что Александр Кириллович заставлял буквально каждого участвовать в озеленении райцентра. А теперь романовцы благодарны ему за это. Приятно было и мне видеть плоды своих трудов.

Да разве только озеленение. Не было такого дела в районе, которого не коснулись бы заботы председателя райисполкома.

Когда он был уже на пенсии, я встретил его в Мамонтове. Вижу, впереди меня по улице прогуливается пенсионер с внуком. И вдруг — голос Александра Кирилловича (его голос всегда был слышен еще издали). И так мне было удивительно — я привык видеть его всегда занятым, озабоченным, в центре людей, окруженным людьми, а тут — он праздно гуляющий, так сказать, в роли няньки-деда. Я подошел ближе. Слышу:

— Куда же ты... это самое дело... лезешь? — Внуку было года два-три. — Куда ж ты в сугроб лезешь?..

Стоит Кириллыч такой привычный, большой и шумный. И будто не внука попрекает, а на ферме «разгон» устраивает — в полный голос, и так знакомо. Так, по-моему, и не получился из него домашний пенсионер — видимо, в течение всех долгих лет не было у него двух жизней, не было «домашней» и общественной. И потом в течение всего нашего разговора (мы вдвоем брели вдоль улицы за его внуком) он

говорил о делах района — теперь уже Мамонтовского — будто он и не уходил на пенсию.

Я сейчас в таком возрасте, когда все чаще и чаще приходится в мыслях возвращаться в прошлое, — чего-то сопоставлять с сегодняшним, искать в далеком минувшем разгадку теперешнему, вспоминать людей, которые как-то повлияли на твою судьбу. И при этом я всегда вспоминаю Александра Кирилловича с теплом на душе. А сколько таких, как я, казалось бы, посторонних ему людей, вспоминают сейчас его добрым, благодарным словом! Ведь недаром же через такие огромные сугробы (выше кладбищенской изгороди) протоптали люди дорожку к его могиле — видимо, есть потребность у людей прийти к нему, даже к мертвому. Прийти и постоять, вроде бы мысленно посоветоваться с ним, что-то ему сказать...

Половина района родилась и выросла при Щербакове (если учесть, что с 1943 года он начал в Мамонтове работать первым секретарем райкома партии и с тех пор его жизнь — даже когда он работал предриком в Романове, — была непрерывно связана с мамонтовцами). Его знали все и в Романовском, и в Мамонтовском районах. Этот человек отдал людям все — и здоровье, и саму жизнь. Его скромность была удивительной. Он мог, например, запросто на обычной тележке катить через весь райцентр баллон с газом к себе домой.

Мне рассказывал об этом заместитель председателя райисполкома.

— Когда, — говорит, — я увидел однажды его с этой тележкой в руках, я чуть сквозь землю не провалился со стыда. Говорю ему: «Александр Кириллович, ну неужели вы не могли позвонить по телефону, чтоб вам привезли?» А он так смущенно улыбался — поначалу даже и не понял о чем речь. Потом говорит: «Ничего. В порядке физической зарядки не вредно... это самое дело...»

Как-то (это было несколько лет назад) появилась возможность подключить дом, в котором жил Александр Кириллович, к теплотрассе. Подключили. Сделали самое обычное дело для пенсионера. Так ведь Александр Кириллович пришел в райисполком благодарить за заботу о нем...

— Наоборот, — говорит зампред, — мы все должны благодарить его за все, что он сделал для района, для нас, для всех людей.

Павел Петрович Николаенко, первый секретарь одного из районов степной Кулунды, проработавший много лет на партийной работе и начинавший ее под руководством Александра Кирилловича, говорил:

— Много на Алтае партийных работников, которые начинали под руководством Щербакова и которым хватило на всю жизнь энергии, излучавшейся от этого человека, его человеческой доброты. Мы десятками лет питались от его энергии, как от аккумулятора, а он был неиссякаем всю жизнь, до своего последнего дня.

И путь, по которому он прошел, — не тропинка на обочине, а прямая дорога. По ней и сейчас идут люди.

Сергей МАЛЬЦЕВ

ЧЕЛОВЕК ИЗ ПЕСНИ

И о бесстрашном сыне
мне говорили не раз:
— Живет он — на Украине,
в песнях живет —
у нас.

Эти волнующие строки написаны о трактористе Александре Петровиче Панькиве, жителе районного городка Бережаны, что расположен в Тернопольской области. Чем же заслужил простой украинский хлебороб такой высокой чести, что его образ воспет в песнях и стихах?

...Шел незабываемый 1954 год. Призыв партии и комсомола к молодежи поехать на освоение целинных и залежных земель застал Александра Панькива в армии. Был он в ту пору сержантом, заместителем командира танкового взвода. Служил по чести и совести.

Вся страна жила в то время новостями о целине. Это были волнующие дни, когда на перронах вокзалов гремели оркестры, а парни и девушки пели песню, на многие годы ставшую гимном целинников: «Едем мы, друзья, в дальние края». Молодежь ехала, чтобы на плодородной земле Сибири и Казахстана, которая лежала в ками нетронутой, создавать новые совхозы, выращивать хлеб.

С большим интересом сержант Панькив вместе с товарищами читал в газетах и слушал по радио сообщения о делах целинников, о том, как нелегко им приходится и как героически преодолевают они немалые трудности. И чувствовал, понимал, что его место там, среди этих стойких людей, решающих важную государственную задачу.

Подожел конец службы. Александр не колебался в выборе дальнейшего жизненного пути. Вместе с командиром танка отправился на Алтай весь экипаж — рядовой Александр Пашун, ефрейтор Ярослав Вербицкий, младший сержант Николай Скорихин. Служба сблизила их, сдружила, они и дальше решили работать вместе.

Добровольцы прибыли в колхоз «Новая жизнь», который находился в деревне Новокудриха Усть-Пристанского района.

Александр Панькив работал на тракторе ДТ-54. В Новокудрихе он женился на местной девушке Любе Скворцовой, здесь у него родился в 1958 году первый сын — Борис. И в этот год, в год сорокалетия Ленинского комсомола, жизнь устроила Александру Панькиву суровый экзамен.

Александр вместе с Василием Капустиним косил пшеницу в валки. Уже темнело, когда вдруг неподалеку механизаторы увидели зарево. Горела пшеница. Огонь разрастался на глазах. Деревня Новокудриха находилась в трех километрах. Пшеничные поля подступали к ней вплотную. Под угрозой находился не только хлеб, а жизнь многих людей. Медлить было нельзя. И бывший танкист Панькив принял решение — быстро отцепил комбайн, прицепил к трактору пятикорпусный плуг и, не медля больше ни секунды, направил машину навстречу огню. Надо было отрезать ему путь, стальные лемеха опрокинули первые пласты. Кабина трактора нагрелась, жарко стало. Александр успел сделать две борозды длиной около километра, но на третьей загорелся трактор. Вспыхнула одежда на трактористе. Панькив выпрыгнул из машины, пытаясь сбить огонь, катался по земле. И, едва затушив горящую одежду, снова кинулся к трактору. Забрался в кабину, включил скорость. У него еще хватило сил доехать на тракторе до деревни. Оттуда его увезли в больницу.

Долго лечился Александр Панькив. А выйдя из больницы, понял: целина для него кончилась. Обожженное лицо и руки не выносили морозов. Врачи советовали: надо менять климат. И в 1959 году Александр Петрович вместе с семьей вернулся в



родные, Бережаны, где живет и работает он по сей день. Но часто вспоминает Александр Петрович не менее родной для него Алтай, годы, проведенные на целине, которые закалили его морально, дали большой заряд на дальнейшую жизнь.

В Бережанах этот мужественный человек работает сейчас трактористом в районном отделении Сельхозтехника. За ударный труд Родина наградила Александра Петровича Панькива орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За освоение целинных земель». В октябре 1979 года Александр Петрович выполнил личный пятилетний план. Бывший танкист работает по-гвардейски. Об этом говорят и почетные награды, которых удостоен Панькив. Коммунисты района избрали его членом бюро райкома КПСС. Когда по Бережанскому избирательному округу кандидатом в депутаты в Верховный Совет СССР баллотировался маршал авиации Александр Иванович Покрышкин, Панькив был его доверенным лицом. Сам сибиряк, прославленный маршал, узнав о подвиге Панькива в годы целины, крепко пожал ему руку и сказал: «Спасибо большое за смелость, за мужество, проявленные в моих родных местах».

Проводит Панькив и большую общественную работу. Он часто выступает перед учащимися школ, профтехучилищ, рассказывает о покорении целины.

Мне приятно писать эти строки о замечательном человеке еще и потому, что сам я родился на Алтае, в селе Залесове, и целину знаю не понаслышке. Моя родословная тесно связана с Сибирью, в освоение которой немало труда положили мои дед и бабушка, а позже — родители. Я хорошо знаю, каким нелегким был их труд, сколько усилий требуется для того, чтобы растить хлеб на алтайской земле. Поэтому хорошо представляю истинную цену труда и подвига Александра Петровича Панькива и многих сотен и тысяч советских людей, поднимавших целину.

...В 1974 году на Алтае проходила декада украинской литературы, участником которой был известный львовский поэт Ростислав Андреевич Братунь. Здесь ему рассказали о подвиге Александра Панькива, судьба которого взволновала и заинтересовала поэта, и он решил поведать об этом людям — так родилась «Алтайская быль».

Ростислав БРАТУНЬ

АЛТАЙСКАЯ БЫЛЬ

Александр Паньків с Бережан, что на Тернопольщине, когда работал трактористом на Алтае, рискуя жизнью, спас поле пшеницы.

1

Наша жизнь, словно колос,
что ни зернышко — песня,
В ней и цвет есть, и голос,
и взлет в поднебесье.
И движенье, и вечность,
и работа, работа,
чтоб была бесконечной
эта линия взлета.
Чтобы в зернышке каждом
жизни светлые дали
проросли и однажды
снова колосом стали.
Урожаем щедротным
век отмечен твой будет,
если в жаркой работе
даришь дни свои людям.

2

То ли это закат багровый,
да такой,
что степь расцвела.
Только цвет —
словно пламя грозное,
только цвет —
словно взмах крыла.
И, вплетаясь черным в зенит,
дым застилает глаза.
И оттого поле звечит
и криком летит в небеса.
Факелом хлебный колос
горит,
освещая степь.
Нива рыдает в голос
за нерожденный хлеб.
Тревогой небо заполнив,
стонет земля от боли.
Кто же придет на помощь!..
Только солнце над полем.
Так разве можно смириться
с черным криком беды.
Поле должно колоситься,
ждать
без тревог страды.

И, как на фронте, в атаку
за землю,
за жизнь,
за хлеб
парень выводит трактор
в эту
багровую степь.
Борозды, словно птицы,
крыльями жар метут.
И оживает пшеница,
и тянется в высоту.
Жарче работа, жарче —
вог уже близко огонь.
Может быть, эта жатва
последняя у него.
И не придется больше
парню встречать рассвет.
Так что же — не принять боя
и отступить?!..
Нет!

Пламени жаркие гривы
гаснут в вечерней мгле.
Человек на огненной ниве
жизнью смерть одолел.
И о бесстрашном сыне
мне говорили не раз:
— Живет он — на Украине,
в песнях живет —
у нас!

3

Наша жизнь — словно колос,
что ни зернышко — песня.
В ней и цвет есть, и голос,
и взлет в поднебесье.
И движенье, и вечность,
и работа, работа,
чтоб была бесконечной
наша линия взлета.
Чтобы в зернышке каждом
жизни светлые дали
проросли и однажды
снова колосом стали.

Перевод с украинского
В. Козодоева

И. САБЛИН

научный сотрудник партархива Алтайского крайкома КПСС

АЛТАЙСКИЕ ОЧЕРКИ ФЕДОРА ПАНФЕРОВА

Приятно сознавать, что большой крестьянский писатель, каким мы знаем автора знаменитых «Брусков»*, оставил в своем творческом наследии светлый уголок и для нашего хлебобобового края.

Нам доподлинно неизвестны мотивы приезда Ф. Панферова на Алтай в послевоенном 1947 г., однако надо ли удивляться, что накануне всеобщего похода на целинные земли, он, много и упорно работая над трилогией «Волга-матушка река», в самый разгар этой работы старается быть как можно дальше от московской суеты, быть там, где живут и трудятся его герои. Особенно часто выезжает он в Сталинград, в заволжские степи, поближе к чабанам и хлеборобам.

О широкой, талантливой его натуре много сказано и не раз еще будет говорить. Видно, не случайно воспоминания друзей были озаглавлены: «Живая сила», «Лучший из лучших», «Из самой глубинки», «Характер сильный, смелый», «Духовная щедрость», «По-народному вольный и широкий», «Человек с большой буквы», «Всегда живой»...

«Мою творческую судьбу, — говорит сам Федор Панферов, — определили три писателя: Дмитрий Андреевич Фурманов, Анатолий Васильевич Луначарский и Алексей Максимович Горький. Фурманов подсказал мне тему и рекомендовал написать роман-эпопею о судьбе многомиллионного крестьянства, Луначарский «открыл» меня советскому читателю, Максим Горький указал путь к мастерству. И за это им большое спасибо».

* Роман, как известно, стал настольной книгой массового читателя 20—30-х годов. Не поддается учету громада положительных отзывов о книге. Не прошла мимо нее и общественность нашего края. 5 января 1929 г. газета «Красный Алтай» писала: «Бруски» должны быть прочитаны каждым работником в деревне. Эта книга не в форме политически-разъяснительной, а в художественной, образной форме правдиво показывает классовую борьбу в деревне и живых ее участников, с их целями, стремлениями, с их методами и подходами к противнику».

Почти тридцать лет Ф. Панферов возглавлял журнал «Октябрь». О Панферове-редакторе говорили и будут говорить так же удивленно, восторженно, с благодарностью, как о Панферове-писателе. Вот частица таких признаний: «До самого смертного часа его сжигал огонь неустанно работающей мысли. Какая из многих страстей была сильнее в нем: любовь к литературе, любовь к общественной, депутатской, редакторской деятельности или любовь к той жизни, которую мы называем личной?.. Все было слито воедино: жизнь, революция, партия, пропаганда ее идей, учение. Ничто не жило в особицу. Он был цельный человек...» Даря своему собрату один из томов «Брусков», он написал на титульном листе: «Несмотря ни на что, мы — единственные — гордо несем знамя Фурманова». И во все времена Панферов-редактор стремился проводить в жизнь славные фурмановские традиции.

Стол его в редакции всегда ломился от сотен рукописей. Рукописи начинающих лежали и в домашнем кабинете, на столе, на подоконниках. Скольким начинающим помог он войти в большую литературу!

Далеко за полночь кто-то из его друзей мог проснуться от настойчивого звонка:

— Спишь? А я, брат, прочел сейчас замечательный рассказец. Автор? Откуда-то из Тулы. Есть еще охреки. Но жизнь знает здорово. Настоящую жизнь. Вот я тебе сейчас прочту страничку по телефону. Будем печатать, обязательно будем. Отредактируем малость и напечатаем...

О широте его натуры друзья говорили — если он брался за новый роман, то этот роман должен был стать эпопеей народной жизни; если вел общественную работу, то в масштабе государства; если вел селил друзей, то до коллик.

В воспоминаниях Валерия Дементьева есть строки: «Да, помощи от Панферова требовали многие. И все просители были почему-то убеждены, что тяжелобольной, перегруженный заботами и делами писатель обязан им помочь, как бы ни была незначительна их просьба. И Панферов помогал — одному дружеской телеграммой, другому — беседой, третьему — крупной суммой денег, четвертому —

вмешательством в издательские дела. Его отрывали от редакторских обязанностей, от чтения рукописей, от работы над романом — и требовали, требовали, требовали участия, и находили это участие, эту дружескую поддержку».

Из воспоминаний жены Федора Ивановича, известной писательницы Антонины Коптяевой, узнаем, как он, обращаясь с просьбой к бывшему первому секретарю Алтайского крайкома КПСС Пысину, писал:

«Дорогой Константин Георгиевич! К Вам в край едет молодой писатель Щеголихин, тот самый, о котором я Вам говорил по телефону. Повесть его, написанную на материале алтайских целинников, мы скоро опубликуем на страницах журнала «Октябрь». Ныне автор едет к Вам за новым материалом для романа. Прошу Вас помочь ему. Ведь у вас в крае лежит готовый «роман» — это «Рубцовский тракторный».

И в конце письма всегда волновавший его вопрос: «Как дела с подпиской на журнал «Октябрь»? Хотя по числу подписчиков «Октябрь» давно вышел на первое место среди других.

Но вернемся к теме нашего разговора. «Писатель, боец, коммунист», как назвал Панферова Аркадий Первенцев, приехав на Алтай, не мог не встретиться с его людьми, не поделиться своими творческими мыслями. 24 сентября 1947 года состоялась встреча писателя с интеллигенцией Барнаула. А затем поездки по краю и новые встречи, знакомства, публикации. Да, и публикации! Пять «подвальных» очерков были напечатаны в «Алтайской правде» за сравнительно короткий период. Тридцать три года минуло с тех пор.

...Пять алтайских очерков Федора Панферова — пять маленьких симфоний земле, труду и человеку. Пять очерков писателя — пять самостоятельных сюжетов, выдвинутых жизнью того времени. Выражаясь по-современному, все они были проблематичны: проблемы степной Кулунды, социальная новь Горного Алтая, фруктовые сады Сибири, гордость края — Алтайский тракторный и, наконец, социальный портрет раскрепощенной женщины.

Но обратимся непосредственно к очеркам Федора Панферова, опубликованным в «Алтайской правде» в октябре—декабре 1947 года.

«Сад в степи» назвал он первый очерк, посвятив его смелым преобразователям алтайской степи. И мы должны быть благодарны писателю за умение точно схватить и опозитизировать черты родной земли, широко и ярко нарисовать картины знакомых нам пейзажей. «Сто, двести... пятьсот километров, а степи все тянутся и тянутся. Кажется, им не будет конца.»

Волжанину Панферову по душе пришлись алтайские степи, но с особым чувством уважения пишет он о людях, близких ему по характеру — смелых, беспредельно преданных делу, самоотверженных в труде. «Чудесный край, чудесные люди!» — восклицает писатель. И уже тогда, за семь лет до начала освоения целины, Ф. Панферов касается этой проблемы.

«Людей. Людей нам надо... Грешно, чтобы такая земля лежала нетронутой», — говорит герой очерка «На пути к изобилию» председатель колхоза Никита Васильевич Серенко.

Поекрасно разбираясь в вопросах сельского хозяйства, Панферов, по словам современников, обладал своего рода даром предвидения. Его биограф Александр Стогнут пишет:

«Роман «Волга-матушка река» вышел в 1953 г. (в год сентябрьского Пленума ЦК по подъему сельского хозяйства). То, что Панферов вскрыл основные процессы, происходящие в деревне в начале и середине пятидесятых, процессы, ставшие предметом обсуждения на сентябрьском Пленуме ЦК, не было неожиданностью».

Более того, многих из своих друзей и знакомых Панферов убеждает поехать на целину. Писателей он ориентирует на темы современности, на то, чем живут люди села. И журнал «Октябрь», во главе которого стоял Ф. И. Панферов, поднял немало актуальнейших вопросов колхозного строительства еще до того, как эти вопросы становились предметом широкого обсуждения.

Алтайские очерки писатель строит на сравнении и противопоставлении. Вспоминает картины прошлого, сравнивает с настоящим. В очерке «Это принадлежит народу» он дает социальный портрет двух героев, по-своему талантливых людей разной судьбы.

Один из них Егор Пряхин — сын вдовы-беднячки, окончивший двухклассное училище и мечтавший поступить в учительскую семинарию. Мать продает последнюю овцу на дорогу, и Егор отправляется в город Вольск, чтобы держать экзамен. Но нет, ничего не вышло. Надо было иметь разрешение от губернатора, точнее, «иметь политическую благонадежность». А Егор, начитавшись запрещенных книжек, бросал злые слова в адрес помещиков и царя. Урядник донес об этом губернатору, тот не разрешил Егору держать экзамен. Не попались парню на пути хорошие, верные люди, и он, оскорбленный, униженный, обозленный, скатился на дно. Кончина его потрясает.

«...Потом мне рассказывали, — пишет Ф. Панферов, — что Егора вместе с его другом видели в Нижнем Новгороде. Оба босяки. Егор за пятак на потеху купцам с разбегу ударом головы открывал дверь лабаза. Его приятель за пятак выдерживал пять ударов кнута. Но однажды купцы изнутри приперли колыями дверь лабаза. Егор разбежался, ударился головой в дверь, расколол череп и тут же умер. Говорили, что он знал, что дверь подперта колыями: перед тем, как кинуться на дверь, он расцеловался со своим приятелем и сказал: «Ну, Сашка, прощай: конец пришел».

Егора Пряхина писатель называет «горьковским героем».

«Сколько их, талантливых людей из крестьян, опустилось на «дно», сколько их погибло в нищете: такова была судьба крестьянина».

И вот его новый герой — реальный,

взятый из жизни и увековеченный в «Брусках» под именем Кирилла Ждаркина.

Герой этот — бывший председатель сельсовета на Тамбовщине Павел Козловский — создатель новой жизни.

«...вечером я видел, как он врывает толстые дубовые воротные столбы. Он забивал их кирпичом и камнем, и от его сильной спины шел пар. А около него бегали его детишки — крупные, как льята. Я смотрел на него и думал: куда можно направить эту физическую силу и способность этого человека? При старом строе он мог бы, пожалуй, пробиться в старшины, приобрел бы лошадку, потом другую (если бы судьба подвезла), затем появилось бы у него то, что присуще кулаку — жадность, бесчеловечность... и, глядишь, он, Козловский, — старшина. А может быть, скатился бы на «дно».

И вот становление личности, раскрепощенной Октябрем.

«По приезде в Москву я рекомендовал Козловского выдвинувцем в «Крестьянскую газету». Он снялся из Воронцовки со всем своим гнездом, переехал в Москву и тут, работая в газете, одновременно стал учиться на рабфаке. Кончил рабфак блестяще, затем поступил в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию и окончил ее одним из первых. Потом я видел его под Москвой — он директор сельскохозяйственного техникума. Но ведь и этого мало! Его старший сын ныне инженер-металлург, дочь — инженер золотопромышленности, второй сын окончил десятилетку, лейтенант, третий сын окончил десятилетку, поступает в вуз.

При каком ином социальном строе возможно было бы это, чтобы крестьянин превратился в агронома, а дети его в инженеров?»

Павел Козловский, тот самый «герой из жизни», говорил о Панферове: «Сказать, что Федор Иванович любил бывать в колхозах, — мало. По-моему, он просто не мог спокойно жить, если долго не был на колхозных полях, не любовался молодыми всходами, не беседовал с колхозниками, не вникал в артельные дела, не ломал голову над тем, как бы выискать еще что-то, что повысило бы рентабельность хозяйства. Потому-то всякий раз, когда мы попадали в колхозы, Федор Иванович выступал на сельских сходах, брал слово на общих собраниях колхоза, на заседаниях правлений...»

Да, Панферов отлично знал свою «крестьянскую» тему. Еще в 1928 году, на заре массового колхозного движения, один из своих очерков он заканчивал практически советом: «Мы предлагаем большинству (и высшим и низшим коллективным хозяйствам) решительно ввести сдельщину, жесткий контроль, учет, поставить за обязательное, чтобы ни одно предприятие хозяйства не висело на шее полеводства».

Гражданская честь и совесть писателя не позволяли ему прятаться за красивыми фразами, заниматься лакировкой фасада крестьянского быта. Критика его несла в себе партийную страсть. Его не стесняли ранги и предварительные оценки. Аркадий Первенцев вспоминает, как по приезде

в Омутнинский избирательный округ Федор Иванович угостил детей «комковым» сахаром и увидел, как они пытались писать на заборе, не зная, что это сахар. Панферов тогда обратился к «тов. Сталину» (он никогда не писал «уважаемый», «дорогой» или «глубокоуважаемый») с этой горестной правдой деревни: «А дети сильные, руки крепкие, звереныши, они многое сделают, нельзя их забывать, надо дать им сахар и все, что им нужно». Это было в послевоенный период.

Такая обостренность чувств к деревенским детям становится еще понятней, когда узнаешь о собственном детстве писателя, родившегося в селе Павловске, на Саратовщине, на той самой земле Поволжья, что испокон веков считалась одной из самых трудных и голодных в России. Выросшему в нищей, продыmlенной избенке, Федярьке привелось убедиться в этом на собственном опыте. В родном селе и отцовском доме он вдосталь хлебнул и нагляделся мужицкой беды. В голодный год шаркался от покойников, сваленных на пароходных палубах и волжских пристанях. С родителями, братьями и младшей сестрой спался от такой же участи бегством вниз по реке-кормилице — в Астрахань, в Баку. В бедных рабочих кварталах этих городов он увидел каторжный труд, пьяный разгул, первые сходки рабочих, грозный вал демонстраций, слепую ярость черной сотни, ужас резни, тупую безысходность безработицы.

В душу и память сильнее всего врезалось то, что Маркс и Ленин называли идиотизмом деревенской жизни. Именно из родного села, куда он не раз возвращался за годы детства и юношества, вынес будущий писатель на все последующие годы ненависть к волчьим законам собственности и нужды, превращающим человека в зверя.

И когда Октябрь начнет подрезать корни собственности и нужде, Панферов первым повернется лицом к деревне и не без гордости признается: «Я эти села — Лопуховку, Агаревку, Баландиху, Спасское, Ерыклу — знаю «сызмала», — скажет писатель о первых подступах к своим «Брускам». — В течение всех лет революции я наблюдал их не просто как «проезжий барин», а принимал горячее участие в организации Советской власти, и землеустройстве, и в хлебозаготовках, и участвовал и на похоронах, на именинах, на свадьбах и даже на родах. Я знаю мужиков наперечет, знаю, кто как жил и живет, у кого какая основная беда — кто от какой беды сохнет, не спит ночи, кого как зовут по-уличному, кто и как дерется со своей бабой... Знаю, какие были и какие стали у них поля... Знают и они меня — от мала до велика...»

Это знание хорошо просматривается и в алтайских очерках, а еще точнее — знание и глубокая, партийная заинтересованность. И не только «мужиками» гордится писатель, он с уважением и восторгом пишет о советских женщинах, завоевавших себе доподлинное равенство и свободу, заставивших себя уважать, относиться к себе, как к равной. «К такой женщине не

подойдешь с кнутом», — говорит Ф. Панферов в очерке «Славные советские женщины».

О кнуте он упомянул не случайно. Он имел в виду «злокачественных женоненавистников» Шопенгауэра и Ницше, проповедовавших идеал «сильной личности»: если ты мужчина — идишь к женщине, то непременно прихвати с собой кнут. И Панферов, споря с ними, приводит в том же очерке еще один пример.

«До 1914 года в России по рукам ходила книга Отто Вейнингера «Пол и характер», — пишет он. — Эту книгу с особым вкусом подхватили мракобесы всех мастей, да не только в России, но и во всех странах мира: в книге доказывалось, что женщина по природе своей мужичины, что ее удел — кухня, быть домашней рабой и рожальной машиной... и книга пошла по рукам, затем превратилась в настольную книгу буржуазной семьи. Это вполне нормально, потому что буржуазная семья является ячейкой по охране частной собственности... В этой ячейке люди сходятся не на началах взаимной любви, взаимного уважения, а на началах торга: «женится» фабрика на заводе, завод на банке и т. д.

...Отто Вейнингер по сути дела ничего нового не открыл, он только стремился доказать «научно», что женщина по своей природе ниже мужчины и потому в буржуазной семье все нормально. Впоследствии, поняв, какую чушь он доказывал, Отто Вейнингер застрелился».

И продолжает:

«Славные советские женщины... Сколько их — летчики, врачи, агрономы, инженеры, художники, изобретатели, воины, учителя, общественные деятели. Они своей работой, своими поступками, всем своим обликом опровергают всю буржуазную «научную» чушь. Да разве только они? А разве миллионы колхозниц, работниц не являются тем неопровержимым фактом, что общественный труд приобщил женщину к культуре, поставил ее на равную ногу с мужчиной?»

...Вы помните, были такие злые «теоретики», которые доказывали, что рабочему классу не следует брать власть в руки потому-де, что он еще малокультурен. В. И. Ленин на это ответил, что власть надо брать, а культуру рабочий класс приобретает потом.

За эти годы у нас в стране не только ликвидирована неграмотность, но и, главное, большинство нашей молодежи закончило семилетку или десятилетку, уже не говоря о вузах. Да не только в центре Союза, но и на далеких окраинах...

Вот мы на Алтае. Ойротка — граница, дальше идет Монголия. Земля тут никогда ничего не родит, даже капуста не растет. Здесь прекраснейшие пастбища для верблюдов, для овец. За время Советской власти здесь выросли новые поселки. Но летом пастухи в юртах. Мы едем на машине в сторону — на дымок. Юрта. Пожилая женщина-пастух, ойротка, или как их тут называют — алтайка. Это люди, которые до Октябрьской революции не знали грамотности, кочевали, другими сло-

вами, это были люди какого-то далекого первобытного общества. А теперь у этой женщины-пастуха дочь окончила семилетку. Вот она стоит перед нами и разговаривает на чисто русском языке...»

Вы, наверное, заметили: говоря о глубинных районах Горного Алтая, писатель акцентирует внимание на бесплодности земель сурового края, где ничего не растет, кроме колючих трав, пригодных лишь на корм верблюдам.

Хотелось бы видеть писателя в этих краях сегодня, когда и в «бесплодный» пейзаж жизнь, социалистическая действительность внесли свои коррективы. Не так давно в «Алтайской правде» появился очерк «Над уровнем моря», автор которого воспел своего героя — самородка-ученого, селекционера, недавно скончавшегося в Горном Алтае, который, по существу, все эти годы вершил бескорыстный подвиг, вдохнув жизнь в бесплодную землю сурового Кош-Агача. Не чудесами, а трудом рукотворным доказал ученый, что бесплодный край родит теперь злаки и овощи.

Надо думать, что мимо такого человека и его земных деяний, мимо такой темы ни за что бы не прошел Панферов-очеркист.

Нам, сибирякам, естественно хотелось бы больше услышать, увидеть, прочесть, понять его мысли, мнения, размышления о Сибири. Что думал он об этой могучей, далеко не изведанной земле.

Всёволод Сурганов вспоминает, что на редакторском столе Панферова в журнале «Октябрь» поверх груды книг и рукописей лежал небольшой кусок свинцовой руды. «Во время беседы с посетителями Федор Иванович пальцами по неровному, тускло блестящему излому. А то, увлекшись очередным спором о живых приметах коммунизма — об этом он готов был говорить бесконечно и в любой час, — вдруг протягивал собеседнику свинцовую глыбку:

— Знаете, откуда это? Из старой декабристской штольни, из глубины сибирских руд...

И, насупясь, следил зорко-зорко, как воспринял его слова сидящий напротив человек. И если у того горячо вспыхивали глаза и вздрагивали от волнения руки, когда он принимал драгоценный обломок, на лице Панферова загоралась почти детская радость: понял, почувствовал!

А в одном из своих последних выступлений — на III съезде писателей СССР — он, показав делегатам съезда кусок этой свинцовой руды, рассказал его историю. Труженики Сибири, узнав, что где-то неподалеку от шахты ссыльные декабристы добывали свинец, разыскали забытую штольню, раскопали ее и прислали писателю осколок руды. И, показывая этот осколок, к которому, возможно, прикасались руки декабристов, писатель говорил: «Он всякий раз волнует меня, как символ каторжного труда в прошлом; глядя на него, я особенно сильно ощущаю радость нынешнего свободного всенародного труда».

Как же ему хотелось воспеть этот новый всенародный труд некогда каторжной Сибири! «Живая Сибирь» — так он мыслил назвать коллективный труд писателей, во имя чего все члены редколлегии должны были разъехаться и разлететься по Сибири и Дальнему Востоку, по очагам сибирских строек.

«Всем было известно, что он лежит в больнице опасно больной, накануне тяжелой операции, — вспоминает Б. Брайнина. — И вдруг в телефонной трубке раздается его оживленный, здоровый, даже как будто помолодевший голос, настойчиво приглашающий поехать с писательской бригадой в Сибирь.

— Я сам обязательно поеду. Вы даже не представляете, какая это будет интереснейшая, плодотворнейшая поездка. Мы потом коллективно составим большую, столь необходимую книгу о Сибири... Завтра в два часа вся редакция «Октября» собирается в кабинете министра геологии; он расскажет о фантастических богатствах этого края, о том, какие чудеса там происходят. Непременно приходите и не опаздывайте!».

И не случайно характер Панферова называли государственным. Панферов, как утверждали близко знавшие его, не забирался в уютную клетку и не подхихикивал над неудачами или просчетами, естественными при гигантской стройке нового мира. Он остро ставил самые сложные проблемы, вмешивался, негодовал, советовал и, конечно, писал.

Гражданин и писатель, всеми корнями связанный с землей, он с глубоким раздумьем говорил: «Никто другой не сможет так помочь партии в борьбе за восстановление плодородия земель, за человеческую любовь к пашне, к разумному земледелию, как мы, литераторы!»

Однажды после беседы с критиками, побывавшими в колхозах и совхозах, он потускнел:

— Какая беззаботность! Лютуют словесную воду о партийности литературы — и ни слова о заботах партии о плодородии земли, о том, что земля тоскует по ласке... Землю ласкают трудом. Она любит уход зимой и летом, весной и осенью. И трудолюбивых, любящих землю людей она вознаграждает щедро. Нет на свете более щедрой матери, чем ухоженная земля. А тем, кто ковырнул ее весной и потом забыл о ее нуждах, она мстит.

Еще более прямолинейно высказывался он о тех, кто непосредственно приставлен к земле: «Тот председатель колхоза или директор совхоза, который отказался от травополья — беспартийный человек. Почему беспартийный? Партия коммунистов никогда не уходила от дум народных, от его забот о завтрашнем дне, а этот уходит. Что подумают о нас дети и внуки, если такие люди оставят им больные пашни? Кто поверит, что на этой пашне работал коммунист? И задача каждого честного литератора — раздевать донага таких людей перед всем народом и тем помогать партии. В этом я вижу партийность литературы».

Думается, не случайно в 1969 году на

III Всесоюзном съезде колхозников, говоря о значении художественной литературы в деле социалистического переустройства деревни, Л. И. Брежнев назвал «Поднятую целину» Шолохова и «Бруски» Панферова.

О «будущем» земли Панферов не только говорил. Вот он с секретарем райкома (в Полесье) едет полями колхоза им. Горького. Попросил остановить машину. Рассматривает вспаханное «на зябь» поле. Помрачнел, нахмурил брови, направился к работающему неподалеку трактору и с яростью начал отчитывать тракториста за глубокую пахоту на песчаных почвах. Тракторист поражен, опрокинул убийственной логикой писателя, виновато моргает и что-то в свое оправдание бормочет. Панферов же долго не мог прийти в себя.

Брак он не терпел не только на полях, но и на литературной «пахоте». Выступая в клубе села Кубеноозерье перед местным населением, он припомнил, как однажды молодой поэт принес в редакцию «Октября» поэму «Живой венок». Сюжет поэмы был незамысловат: крестьяне глухой смоленской деревни, узнав о смерти Владимира Ильича, решили собрать по избам живые цветы, сплести из них венок и отправить его в Москву, чтобы возложить на гроб Ильича.

Поэма была прочитана в редакции и всем понравилась. Прочитал ее и Панферов. «Почему цветы?» — спрашивает у поэта. Автор молчит. «Вы знаете, какие цветы стоят у мужика в избе?» Поэт действительно не подумал, а какие же в январе можно собрать цветы по деревенским избам?

— Ванька-мокрый! — выкрикнул из зала какой-то подросток.

— Верно, — поддержал его Панферов. — Ванька-мокрый, мокренькие, хлипкие такие цветочки, которые не то что сплести, связать в букет невозможно.

А молодому поэту он посоветовал тогда: «Пусть мужики... сплетут венок из колосьев доброй умолотистой ржи. Правды будет больше, да и хорошо это — рожь-матушка. Больше всего любят ее в деревнях. Любят и ценят. А наши поэты все о васильках да васильках...»

Вот так он выходил на народ, сверял свой писательский камертон с его созвучием, чтобы, садясь за писательский стол, не ронять на бумагу фальшивые ноты. И не случайно, а по праву называют его писателем народным: как никто другой, Ф. Панферов понимал народ, верил в его силы, и все свои силы отдавал ему, советскому народу. «Не примите это за хвастовство, но я никогда не кривил душой, — говорил писатель, — и это радует меня. Порою мне было туго, и тогда я снова покидал Москву, шел к народу, и он своими подвигами вдохновлял меня...»

Эти слова как бы подтверждаются пребыванием Ф. И. Панферова осенью 1947 года на Алтае, доказательством тому служат и очерки, написанные им за этот период и опубликованные в краевой партийной газете.

Федор ПАНФЕРОВ

ЛЮДИ СИЛЬНОЙ ВОЛИ

1

Откуда бы ни подъезжали к Рубцовке, все равно столкнетесь с такими рытвинами на дорогах, с такими ухабами, что запомните их на всю жизнь. Дело в том, что поселок Рубцовка возник среди солончаков: во все стороны на протяжении двадцати-тридцати километров тянутся солончаки, в дождь они становятся непроходимыми (машины тонут по ступицу, как в мыло), а когда подсохнет, остаются развороченные колеи, ухабы, рытвины. Но поселок возник именно здесь. Сюда со всех концов тянулись обозы с хлебом, затем тут была построена железнодорожная станция и вскоре начали воздвигать элеватор, а рядом с ним появились длинные лабазы для сохранения зерна.

Вот сюда, на станцию Рубцовка, и прибыли первые эшелоны с оборудованием Харьковского тракторного завода. Люди, прибывшие с эшелонами, могли бы вести себя очень просто — не трогать оборудование, не разбивать ящиков и сидеть, сложа руки, дожидаясь возвращения в Харьков, на старое место. Но советские люди в самом деле люди иной породы: они не могли сидеть, сложа руки, когда в стране почти прекратился выпуск тракторов, а на фронте шли напряженные бои.

Стране нужны были тракторы...

— Раз надо, значит, надо, — так ответили рабочие, мастера, инженеры.

Но были и такие, у которых возникли довольно веские сомнения.

— Желание — это, конечно, одно, — говорили они, — но ведь трактор одним желанием не создать: во-первых, у нас только часть оборудования, во-вторых, нужны здания, цеха. Ведь под открытым небом станки не поставишь.

Тогда во все концы страны были посланы люди — отыскивать эшелоны с оборудованием, а тут, на месте, станки расставляли в холодных, полутемных лабазах, строились площадки и прямо под открытым небом ставились станки, в надежде, что скоро будут возведены стены и крыша. Это были не цеха, а копилки: под каждым станком, чтобы не замерзла эмульсия, топились железные печечки. От них шел угар. Но эмульсия не замерзала, и станки работали. Около станков люди, закутанные кто во что попало. И особенно тяжело было тем, у кого станки стояли

под открытым небом. Тут тоже под каждый станок ставилась печка. Но она уже совсем не грела человека. Представьте себе: при злых сибирских морозах, под открытым небом у станка стоит человек, закутанный в шарфы, шали, в варежках, и вытачивает деталь. После этого он идет «домой», в землянку или полухолодный барак, принимать довольно скудный обед и, не раздеваясь, ложится спать... Так ведь не один, не два дня, а месяцы.

Временами казалось, что все это немислимое дело — выпустить трактор без завода. Временами казалось, что людские силы надорвутся, и тогда замолкнут, заиндевеют от мороза станки.

Но люди упорно не отступали от намеченной цели, упорно, упрямо, с сознанием, что они куют победу здесь, в глухом и далеком тылу, и в первых числах января тысяча девятьсот сорок третьего года люди дали стране первые пятьдесят тракторов.

Но то были первые шаги. Надо было строить цеха, то есть создавать завод... И рабочие, одновременно создавая завод, вскоре выпустили первую тысячу тракторов.

От Иосифа Виссарионовича Сталина пришла телеграмма:

«Приветствую и поздравляю строителей, рабочих, техников и служащих Алтайского тракторного завода с большой производственной победой — пуском нового тракторного завода, освоением производства и выпуском первой тысячи тракторов.

Своей напряженной работой вы создали в короткий срок, в трудных условиях военного времени, мощный завод по выпуску тракторов для сельского хозяйства и нужд Красной Армии.

Родина и наша славная Красная Армия высоко ценят вашу самоотверженную работу и помощь в деле быстрого разгрома немецких захватчиков.

Желаю вам дальнейших успехов в вашей работе.

И. Сталин».

И ликованию не было конца. Ликовали люди, обожженные сибирскими морозами, закаленные в труде — люди стальной воли.

Где и в какой стране могут так работать люди?

У здания заводоуправления небольшая площадка залита асфальтом. Она огорожена: ездить по ней еще нельзя — не просохла, и директор завода Рубанов Зиновий Семенович, не в силах сдержать радость, говорит нам:

— Сами выделяем асфальт. Вот отсюда начнем и покроем все дороги, тогда конец солончакам.

От заводоуправления до завода тянется шоссе из булыжника. По обе стороны шоссе на пустырях — кирпичные жилые дома, бани, больница, родильный дом, ясли. А вот и заводские ворота. Они старенькие, дощатые.

— Ворота на производство не влияют, и мы с ними подождем, — говорит директор и вводит нас на завод.

Да. И тут еще не все «заводское». Основные цеха — бывшие лабазы для ссыпки зерна. Но они теперь уже переоборудованы: в них нет ни копоти, ни угара, ни печечек. А вон стоит недостроенный элеватор. Он высится над всем. Его скоро снесут. И будет на его месте заложено новое заводское здание, цех.

— Вот такое, — и директор вводит нас в новое здание.

Цех ли это? Может быть, это зал для торжественных празднований: большие окна, высокий потолок, изумительная чистота. Таких зданий заложено несколько. На этих стройках, в этих зданиях мы то и дело встречали оживленных людей с радостными лицами — рабочих и инженеров, и все они в один голос сообщают нам:

— Как Харьковский строим. Вот приезжайте к нам через пять лет, и здесь будет Харьковский.

— Ну, не такой, конечно, где уж нам до Харьковского, но, однако, растет красавец.

Растут и жилые дома.

Особенно приятно выглядит поселок коттеджей.

Поселок расположился неподалеку от завода (тоже на пустыре). Здесь больше ста коттеджей, каждый на две квартиры. В квартире две-три комнаты, кухня, застекленная веранда, а рядом надворные постройки — погребок, кладовка, конюшня и участок приусадебной земли.

Мы входим в квартиру. Две комнаты, кухня. Полы покрашены, стены выбелены, на окнах занавески. Очень чисто. Живет мастер. Ему лет тридцать. Жена, ребенок.

— Ну, как чувствуете себя?

— Как? Да ведь не в землянке живем. Это вот когда мы с Нюрой в землянке жили, ну тогда да-а-а. Днем у станка на холоде, ночью в землянке холодно. — И опять начались разговоры о прошлом...

— Морозы нас не сломили. А в такой квартире чего не жить и как не работать изо всех сил?

Были трудности во время строительства и пуска завода. Но вот кончилась война, и пришли новые трудности: многие рабочие-харьковчане решительно заявили:

— Домой. На восстановление тракторного.

Силой человека не удержишь... И, казалось, все, созданное с таким напряжением и с такой гордостью, все может приостановиться: уйдут рабочие, замрут станки. И тогда старые мастера, инженеры, техники сказали:

— Мы не уйдем, пока не создадим замену.

Крайком партии, крайком комсомола кинули клич по Алтаю:

— Юноши и девушки! Вы должны овладеть мастерством рабочих и выпускать тракторы — наши алтайские тракторы.

Из колхозов, совхозов, городов потянулись юноши и девушки на завод. Они пришли с полным желанием помочь заводу, но большинство из них впервые видели станки, гигантский молот, формовочный цех, цеха сборки и т. д., хотя многие из них читали и про станки, и про цеха: ведь почти каждый из них окончил семилетку. Однако было странно...

Вера Кошкарлова, когда впервые вошла в цех, то не знала, куда деть руки: руки боялись прикоснуться к станку.

Старый мастер-харьковчанин сказал:

— Дочка, станка не бойся. Станок — существо разумное, даже, пожалуй, с высшим образованием. Ты вот так подходи к нему — смелее и с соображением. Соображай. Я буду править станком, а ты стой пока рядом и соображай, что к чему.

Через год старый мастер-харьковчанин распростился с Верой Кошкарловой. Прощаясь, сказал:

— Руки у тебя, девушка, золотые, голова на плечах умная. Правь тут теперь делом без меня. Вот тебе ученицы. Учи их.

Так, распростившись со своей ученицей, ныне молодым мастером, старый мастер отправился к себе на восстановление Харьковского завода.

За свою преданность делу завода, за свое мастерство, за чуткое отношение к людям ее, Веру Кошкарлову, народ выбрал депутатом Верховного Совета РСФСР.

А вот Новикова — наладчица. Она нам прямо сказала:

— Жила в Бийске. Захотелось на завод. Работаю. Бываю у родителей. Они живут хорошо, а я лучше: у меня уже ученики есть.

Да, тут их очень много — таких молодых, задорных, идущих вперед.

Вот Поляков Андрей. Окончил семь классов и отправился на завод. Сейчас он (уже по новым нормам) заканчивает годовую программу.

Вот Широколадзе. Ему всего восемнадцать, а он уже инструктор по сборке.

Вот Островский Ким. Этому за мастерство и старание сулят на заводе большое будущее.

— А у нас на заводе и цыганка работает, — вдруг произносит директор.

— Да не может быть! — восклицаем мы. — Цыганка за станком?

И вскоре к нам действительно подошла девушка-цыганка. Ей лет восемнадцать. Руки в масле. Кто-то из нас в шутку произносит:

— Хотим погадать.

— Такой пакостью не занимаюсь, — резко и с достоинством отвечает она. Затем минут пять рассказывает, как пришла на завод, как окончила ФЗО, где до завода работала, и вдруг, вскинув глаза на директора, умоляюще произносит:

— Товарищ директор, мой-то станок ведь работает. За ним надо смотреть да смотреть, — и быстро ушла к своему станку.

— А теперь пойдете в штамповочный. Я здесь сам не понимаю этого человека. Ему ведь всего двадцать лет... но талант.

— О ком это вы?

— Ах, я не сказал — это я про Саню Петрова. Пришел к нам на завод из шестого класса и попросился в ученики к Зотову Федору Степановичу. Ну, Зотова теперь вся страна звет — мастер первого класса. Учеников подбирал смельчаков: у нас ведь в цехе металл, огонь, молот, сноровка, поворотливость, удаль. Да чего я рассказываю? Сами увидите.

Да, тут действительно металл, огонь, быстрота, сметка... Прямо перед нами гигантский молот. Он двигается вниз, вверх, как бы кому-то грозясь... И вот подложена огромная раскаленная болванка. Нажим

педаль. Удар, второй, третий. И снова молот двигается вниз и вверх, как бы кому-то грозясь... А тут проворные руки длинными клещами ловко поворачивают болванку. И опять удар, другой, третий... Коленчатый вал готов. Снова болванка. Снова удар молота. Переворачивают болванку, и снова коленчатый вал готов.

Около молота работает парень в обожженном, прокопченном комбинезоне. Он работает проворно, ловко. Все, кто помогают ему, по кивку головы, по движению рук понимают, что ему надо. Это и есть Саня Петров.

— Заболел Зотов. Задумался, кого оставить вместо себя... И решил Петрова Саню. Ничего, слышь, справится. А этот не только справился, но за несколько дней обогнал своего учителя. Понимаете? Зотов смеется, говорит: «Молодец ученик — перекрыл учителя».

Вот такие они — юноши и девушки — пришли на Алтайский тракторный завод. От их рук, конечно, ничто не вырвется, возьмутся, непременно сделают. Теперь они говорят: «Через пять лет наш завод станет таким же красивым, как и Харьковский. Приезжайте, харьковчане, подивитесь».

САД В СТЕПИ

1

Сто, двести... пятьсот километров, а степи все тянутся и тянутся. Кажется, им не будет конца. Временами вспаханные и уросшие золотистой пшеницей поля сменяются вечно нетронутыми землями — целинами. Земли эти покрыты густым ковылем. От гула машины то и дело вылетают стаи стрепетов — кипенно-белых, серебрищихся на солнце, или поднимаются отяжелевшие тетерева. А вон гуляют дрофы, журавли. И вдруг все это богатое, черноземное обрывается, и перед нами — пески, дюны, озера, покрытые солью, как льдом, скудная растительность. Полупустыня. И снова — богатые черноземы, поля пшеницы, овса, проса, карты вороного пара, зеленые до черноты озимя. А вот ленточный сосновый бор. Он тянется от Барнаула куда-то в глубь Казахстана. Таких боров на Алтае три. Тянутся они параллельно друг другу и утыкаются в реку Обь. Ученые объясняют: когда-то ледники преградили путь реке Обь, и она пошла в сторону. Промыла русло. А затем, спустя много лет, снова вошла в свое старое русло, а на размывах появились сосновые боры. Какое бы то ни было происхождение этих боров, но алтайцы все равно охраняют их как зеницу ока: боры обрывают горячие ветры-суховеи, останавливают пески, сохраняют влагу. И в самом деле, вон вдоль бора тянутся пресноводные озера, забытые дичью.

Чудесный, красивый, богатый край...

Видимо, не случайно сюда шли и идут люди из Поволжья, с Украины, из Курска,

Орла, Воронежа, Белоруссии, Подмосковья. И, видимо, не случайно когда-то старый дед Бондарь писал своим под Белгород:

— Приезжайте к нам. У нас тут пироги на березах растут.

2

Ночь, как всегда, в степи спустилась почти молниеносно, и все окуталось тьмой. Степь зазеленела по-иному — звонко и гулко. На дороге сидит волк. Освещенный светом фар, он кажется желтым, а глаза у него горят, как фонари.

— Экий чертяга, — вскрикнул шофер и направил машину на волка.

Тот вскинулся, сделал машок и скрылся в густых травах. И опять — черная, укатанная дорога впереди, а по бокам стена тьмы. Так десять-пятнадцать километров... И неожиданно из тьмы вынырнули электрические огни. Они горят то тут, то там — вразброс, но особенно густо в центре.

— Что это такое? — спрашиваю у своего полутчика, редактора краевой газеты.

— Колхоз имени Молотова. Председатель тут Гринько Федор Митрофанович. Человек такой... Палец в рот не кладите — отхрюпает.

Вот центр поселка. Домики небольшие, аккуратные, с палисадниками, в окнах всюду свет. Чуть в стороне — крытый ток. Здесь работают 3 веялки, сортировочные машины. Никто не крутит ручек машин. Они действуют при помощи электричества. Оказывается, все основные работы в колхозе электрифицированы, и это дало

огромную добавочную людскую силу. Освобожденная благодаря электрификации людская сила ушла в производство: при колхозе — маслобойный, черепичный, кирпичный заводы, заканчивается здание для переработки овощей, фруктов, ягод, для выделки вина, заложен Дворец культуры, построена школа-десятилетка. Да какая школа! Такую редко увидишь в городе. Видимо, не случайно во время второй Отечественной войны колхоз дал армии пятьдесят шесть офицеров, а сельское хозяйство почти целиком отошло в руки женщин, девушек. Мужчины — плотники, кузнецы, столяры, вырабатывают черепицу, делают кирпич, работают на тракторах, комбайнах, остальное — все женщины, девушки. И еще интересное явление: в колхозе нет «авралов». Все идет по намеченному плану и нигде и никогда не приостанавливается работа, чтобы перебраться людям на «аврал». И другое — колхоз вот уже несколько лет не пользуется присланными из города, с заводов.

— Мы все убираем своими руками. Нет нужды, — объяснял нам поутру, сидя в своем кабинете, председатель колхоза Федор Митрофанович Гринько.

Это человек лет под пятьдесят, лицо у него в загаре, обветренное, упрямое, энергичное. Говорит он, взвешивая каждое слово, присматриваясь и прислушиваясь к нам. Перед ним за столом сидит председатель соседнего колхоза — человек небольшого роста, живой и любопытный.

— Так вот, милый мой Федор Митрофанович, — говорит он скороговоркой. — Три дня у тебя пробыл, во все досконально вник, как гвоздь в дерево вбил, и, однако, возвращаясь к прежнему: открой тайну, как руководишь народом. Отчего, хотя я и всю душу в хозяйство вкладываю, а уважения такого, как ты, от народа не имею? Отчего? Ставлю вопрос прямо — по-партийному.

Федор Митрофанович некоторое время думает, затем по его лицу пробегает такая же улыбка, как у отца, когда он сыну объясняет большие дела.

— Ну вот, загибай первый палец, Федор Кузьмич. Загнул? Ну, это значит, вопервых, не пьянствуй.

— Ни капляки в рот. Давно прекращено. Однако палец загнул, — ответил председатель соседнего колхоза. — А толку?

— Не пьянствуй. А толк будет! За тобой ведь сотни глаз смотрят и видят, на чьи денюжки пьешь. Второй палец загибай. Загнул. Ну вот, уважай колхозников. Навсегда считай — они хозяева всего, а ты их слуга. Однако поблажки не делай ни свату, ни брату, ни куму дальнему. Опять: за тобой сотни глаз смотрят. Говори народу правду. Не финти. Добейся, чтобы твоему слову верили. Чтобы так говорили: раз Федор Кузьмич сказал, то тому и быть. Особо уважай актив свой. Теперь загибай третий палец. Никому не давай воровать и сам не воруй.

— Да что ты, Федор Митрофанович, чтобы я воровал...

— Не о тебе речь, а о законе мораль-

ном. Не воруй, не давай воровать, береги каждое зернышко в колхозе, каждую щепочку. Пускай там кто-то говорит о тебе: «Ну и скупердяй Федор Кузьмич». Ничего. Это хорошо, когда председатель скупой: богаче трудовень будет для колхозника. А ты всегда и думай о трудовень. О государстве в первую голову надо думать, но не забывать и про трудовень. Государству положенное все равно ты отдашь, а трудовень повысит целиком зависит от тебя, председателя. Загибай новый палец — учись и народ учи. Вот про меня говорят: «Гринько, Гринько». А что Гринько? С неба звездой, что ль, хватает? Я учусь. Я трактор знаю, комбайн знаю, агрономию знаю, кирпич выделывать умею, черепицу тоже, садоводство знаю. Куда ты меня ни сунь — и минимум знаю, и, однако, учусь на заочном в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. А народ? Если раньше на селе интеллигенция была такая: ну, два-три учителя, врач, поп... и все. А теперь у нас на селе с высшим образованием 40 человек, из них двадцать два учителя, четыре агронома, врачи, да ведь и рядовые колхозники смотришь — этот окончил семилетку, этот десятилетку. Обрати внимание на наших звеньевых, ведь они почти все со средним образованием. Ну и дело понимают, и работают с умом. А тут кричат: «Гринько, Гринько. Грош ему цена, если бы народ был неграмотный. И опять загибай палец. Поставь свое хозяйство на твердую, то есть на умную ногу. Сделай так, чтобы в поле у тебя не был трень да брень. Заведи на полях устойчивый севооборот, озелени поля, выгони сорняки, воспитай в колхозниках к сорнякам такое же чувство, как к таракану и к клопу, то есть омерзение.

Но тут в разговор вмешался мой попутчик:

— Федор Митрофанович! Вот вы говорите о правильном севообороте. Но ведь у нас так много еще целин и залежей, а государству нужно зерно... Пашите их.

— Этого я не попираю. Молодым колхозам, севшим на целинных землях, пока, конечно, не до севооборотов: паши ты целину и сей на ней несколько лет подряд пшеницу — уродится. Но нам-то за чем вспать переть? Нам земля отдана навечно, и строить мы на ней должны все навечно.

— А вот посевы по стерне?

Федор Митрофанович снова долго молчал, о чем-то думал, затем ответил:

— Явление от нужды, а надо — наверняка. Да что там говорить, поедемте в поле, посмотрим.

3

В сельском хозяйстве есть красивое и есть скверное. Скверное — когда поля вспаханы кое-как, кочкастые, с чилизиями на незасеянных полосах, сорняки в рост человека. Красивое — когда поля ровны, межи прямые, четки, сорняков не видеть.

Поля колхоза имени Молотова — красивые: на огромном пространстве (а мы

проехали километров тридцать) почти ни одного сорняка, земля вспахана любовно, поля пшеницы усыпаны пятнами снопов или же убраны, овсы кудрявые и богатые. Подсолнух большоголовый, люцерну хоть на выставку вези. А рядом, через дорогу, такие сорняки, как джунгли. Федор Митрофанович, выйдя из машины, взял под руку председателя соседнего колхоза, подведя его к сорнякам, сказал:

— Твое поле, Федор Кузьмич?

— Мое, — ответил тот с грустью.

— Это ведь чума. Ты заражаешь этой чумой не только свои поля, но и наши. Вот подсохнет, семена этой дряни созреют, ветер дунет и принесет эту пакость на наши поля. Не стыдно тебе? А еще спрашиваешь, как управлять колхозом. Я бы на их месте тебя выдрал бы. Это я говорю, конечно, в шутку, но, однако...

Едем дальше. Через каждый километр полтора — лесные полосы, посаженные колхозниками.

— Видели наши поля? — проговорил, обращаясь к нам, Федор Митрофанович. — А теперь поедемте к нашим людям, к тем, кто создал такие поля. Хотите, я вам покажу Героев Социалистического Труда?

— Как? Уже награжденных?

— Нет еще. Но будут награждены. Нынче ведь награду надо заработать. А они заработали — девчата мои.

4

Колхозный стан построен навечно: теплые хаты для жилья, конторка для бригадира, подсобное хозяйство и тока, крепкие риги, закрома для зерна, садик... и цветы — буйные, горящие разнообразными красками. А вот и будущие Герои Социалистического Труда — Мария Чиликина и Мария Аксенова. Обе они окончили семилетку. Звеньевые. У каждой посева около трехсот пятидесяти гектаров. Из них триста — яровой пшеницы. С каждого гектара в среднем они возьмут по 15—16 центнеров. Но у них есть рекордные участки по двадцати гектаров. С этих участков они уже взяли по тридцать два центнера.

— Сколько же вы государству дадите хлеба? — спросил я.

— Сто тысяч пудов!!!

— Не сдадим, а уже сдали!

— А сами что получите?

Федор Митрофанович подумал, затем ответил:

— В прошлом году мы на трудодень выдали два килограмма хлеба и по семь рублей пятьдесят копеек денег. Это было хорошо. В этом году дадим килограмма по четыре хлеба и рублей десять денег на трудодень. — И, наклонившись ко мне, Федор Митрофанович зашептал: — А хотите, я вам покажу чудо из чудес?

5

Утверждали, что в Сибири (а Алтай — это Сибирь) невозможно разводить сады, выводить малину, крыжовник, сливы и прочее. Верно одно, что дело это очень трудное: морозы сжигают все. Но вот Федор Митрофанович привел нас в сказочное место. В виде башмака лежит участок, окаймленный высокими тополями, а рядом с тополями — грецкий орех, клены, липы, сосна, из всего этого создана такая преграда, что кажется сад одет в шубу. А внутри этой зеленой загороди — ползучие яблони, антоновка, бессемянка-крыжовник, малина, слива. Так ведь на площади в сто пятьдесят гектаров. И какие плоды! Вот антоновка. Федор Митрофанович поднимает с земли ветвь и, радуясь, говорит:

— Смотрите-ка, каждое яблоко грамм по семьсот.

А рядом на дорожке — сибирские яблони: плоды на них похожи на тоненькие вишни.

— Из таких мерзавчиков мы должны были создать хорошие плоды, — говорит Федор Митрофанович. — Вы думаете, нам это легко досталось? Ох, сколько оплошек, промахов. Сколько труда мы положили. С коммерческой точки зрения дело сие — дрянное, невыгодное. Но мы добились своего: сад труд наш сейчас окупает с лихвой, но главное — мы доказали всем колхозникам, что в Сибири можно получить хорошее яблоко, хорошую малину, хороший крыжовник и хороший виноград...

Чудесный край, чудесные люди, знаменитые дела: в прошлом году эти люди, хлеборобы Алтайского края, узнав о том, что в ряде районов страны недород, сверх плана дали государству двенадцать миллионов пудов хлеба. В этом году они дают стране намного больше хлеба, чем в прошлом году.

НА ПУТИ К ИЗОБИЛИЮ

1

Никита Васильевич Серенко — человек скромный, даже стеснительный, но и любопытный: он меньше рассказывает, а больше спрашивает — и о том, как бы достать высокоурожайных семян яровой пшеницы, и о том, нельзя ли на Алтайский тракторный завод послать несколько

трактористов, чтобы те там обучились заводской культуре, и о том, какой урожай в Америке. Но о чем бы он ни рассказывал, все равно его интерес сводится главным образом к своему колхозу «Страна Советов».

Колхозники про него любовно говорят:

— У нас председатель заботливый, день и ночь о колхозе думает.

Никита Васильевич на это неизменно отвечает:

— Мы носим пон какое звание: «Страна Советов». Страну Советов мы на фронте кровью защищали, теперь здесь должны защищать трудом своим. Для нас наше государство выше всего, — и тут же, обращаясь к нам, спросил: — А скажите, пожалуйста, сколько государству Гринько дал?

Гринько, председатель колхоза имени Молотова, находится от «Страны Советов» километров за сто шестьдесят, но Никита Васильевич не равняется на отстающие колхозы, он равняется на передовой колхоз в крае.

— Гринько? Гринько, слышали мы, дает государству в этом году сто тысяч пудов пшеницы.

Никита Васильевич улыбнулся и с гордостью сказал:

— А мы в этом году уже сдали государству сто тридцать тысяч пудов! Обогнали Гринько. Напишу-ка я ему об этом, любезному Федору Митрофановичу. — И сев за стол, он принялся за письмо.

Никита Васильевич несколько раз ранен на фронте, и его особенно беспокоит правая рука: пуля попала выше локтя, раздробила кость, и теперь рука почти не действует. Приходится писать левой. И он пишет, ставя буквы вкось и вкривь. Пишет и смеется:

— По уму-то я будто не первоклассник, а пишу, видите, какими коряками. Да ничего. Было бы о чем писать. — И, закончив письмо, снова обратился к нам: — Слышали о наших людях? По двести пудов пшеницы с гектара снимают. Звеньевой Проценко собрал на площади в двадцать гектаров по двести восемь пудов с гектара. Маруса Казакова взяла с каждого гектара сто восемьдесят пять пудов. И еще то заметьте: Гринько рекордные участки заложил по двенадцать гектаров, а мы семнадцать, двадцать.

2

Колхозный бригадир Анатолий Давыдович Ромашев приехал на Алтай из-под Воронежа еще в тысяча девятьсот двадцатом году. Родственники из-под Белгорода переслали ему письмо, в котором было сказано:

— Приезжайте к нам: у нас простор, земли богатые.

И он приехал вместе со своей семьей, одиночкой сел на землю и через несколько лет убедился, что земля тут действительно богатая, но снять с нее урожай не так-то легко: то ударят ранние августовские заморозки и высусят зерно, то подует суховей и все спалит: поля становятся черными, будто по ним прошли пожары.

Так он бился несколько лет и в конце концов понял, что «врага на полях в одиночку не одолеть», и одним из первых вступил в колхоз «Страна Советов».

Государство послало тракторы, комбайны, сеялки, появились агроном и такой руководитель колхоза, как Никита Васильевич Серенко. А земли в колхозе мно-

го — семь тысяч пятьсот шесть гектаров, из нее пахотной пять тысяч пятьсот сорок гектаров. Только под пшеницу в этом году было отведено две тысячи восемьдесят шесть гектаров. Кроме этого — сто тридцать две лошади, пятьсот семьдесят три коровы, две тысячи шестьсот овец, сто шестьдесят две свиньи... и все это принадлежит вот им — Никите Васильевичу Серенко, агроному Вальчуку Никифору Моисеевичу, Ромашеву, Проценко, Марии Казаковой и другим колхозникам.

Вот они — богатые залежи, целины, луговинные долины и прекрасно разработанные поля.

— Людей. Людей нам надо, — показывая поля, говорит нам Никита Васильевич. — Много людей. Ведь грешно, чтобы такая земля лежала нетронутой. Ведь это не земля, а зерно: зерно народу, государству. Вот если бы к нам сюда в край приехало миллиона два человек, тогда мы бы подняли все земли и засыпали бы государство зерном... А жить тут хорошо. Смотрите, какие у нас просторы, какие озера, леса.

3

Когда вышел Указ о награждении передовых мастеров урожая званием Героя Социалистического Труда, Никита Васильевич вызвал звеньевых, бригадиров, агронома Вальчука и сказал:

— Честь большая для нас — собрать урожай не меньше ста восьмидесяти пудов с гектара. Восемь гектаров полагается звеньевому. Мы по нашей земле давайте заложим семнадцать-двадцать... Это — желание. А теперь приступим к выполнению. Дело не простое. Тут, кроме труда, наука должна свою руку приложить. Агроном, бери все под свою команду.

И почти каждому звеньевому были отведены участки.

Комсомольское звено Маруси Казаковой взялось соревноваться с такими опытными колхозниками, как Ромашев, Проценко, Красуленко Пелагея Ивановна и другие.

Да. Высокий урожай дался нелегко.

Девчата из звена Маруси Казаковой на свой участок вывезли одного только навозу до десяти тысяч пудов, а сколько золы, минеральных удобрений. Сколько раз пришлось потом подкармливать пшеницу, полоть.

— Иной раз к вечеру спины не разогнешь, а руки так стонут, что не знаешь, куда их деть.

Но ведь, кроме рекордных участков, каждому звену надо было засеять до трехсот пятидесяти гектаров. А весенние ветра злые, утренники холодные, и, однако, колхозники «Страны Советов» вышли победителями: они средний урожай пшеницы собрали до двенадцати центнеров с гектара, а на рекордных участках — до двухсот пудов с гектара. Эти участки никем не обходились: кто бы ни ехал, рядовой ли колхозник, бригадир ли, звеньевой или сам Никита Васильевич, все равно завернет на рекордный участок, посчитает колосья, прикинет в уме, сколько можно

будет собирать с гектара, и, удовлетворенно-радостный, отправляется по своим делам...

А победителем из победителей вышел Проценко Егор Алексеевич. Он собрал по двести восемь пудов пшеницы с гектара.

4

Сегодня какой-то странный день: ни на станах, ни в полях почти никого нет. Только на токах работают веялки и сортировочные машины. Здесь горы золотистой пшеницы.

Впрочем, в этом ничего странного нет: вчера Никита Васильевич собрал комбайнеров, трактористов, бригадиров, звеньевых и на собрании поздравил, во-первых, с тем, что колхоз «Страна Советов» одним из первых по краю сдал государству сто тридцать тысяч пудов хлеба. Затем Никита Васильевич сообщил, что уборка зерновых в поле закончена. Никита Васильевич поблагодарил за работу колхозников, бригадиров, звеньевых, комбайнеров, трактористов и агронома.

— Наука в хороших руках всегда приносит пользу народу. Агроном наш дал нам науку на поля, а мы хорошо руками ее применили. И теперь, надо полагать, несколько человек из нашего колхоза по приглашению правительства в скором времени отправятся в Москву за высокой наградой.

Ну... Это очень трудно описать... Тут раздались такие аплодисменты, что стекла в хатке задрожали, а свет в керосино-

вой лампе заколебался и чуть не погас. Когда же все утихло, Никита Васильевич добавил:

— А теперь правление объявляет на два дня передышку: отдохайте, подремонтируйте комбайны, тракторы (это, по Никите Васильевичу, — передышка: ремонт тракторов и комбайнов), а затем домолотим хлеб, уберем подсолнух, поднимем зябь и будем готовиться к новому году...

Вот почему в полях нет людей, на станах почти пусто, а в деревне по берегу огромного озера топятся бани.

У Никиты Васильевича тоже передышка. Он ведет нас к себе на квартиру. Избушка небольшая — в две комнаты. Три сына учатся в школе и двухлетка дочка Зина. Ее все зовут так: «Вот наша хозяйка дома».

Рядом с этой хаткой строится новый дом из толстых, золотистых сосновых бревен. Дом основательный, в пять комнат.

— Кому это такой дом, Никита Васильевич, мастерите? Дочке в приданое, что ли? — шутим мы.

— И ей, и сыновьям, и себе, — отвечает Никита Васильевич. — Договорился я с плотниками, чтобы они строили дома добротные, красивые. Наш колхоз славится на весь Алтайский край. К нам в колхоз едут люди со всех сторон учиться. Так пусть учатся и тому, как надо строить дома. Нашему государству нужны не только хлеб, металл и прочее, прочее, но и то, чтобы мы красиво жили...

*Колхоз «Страна Советов»
Угловского района*

Николай ШЕРСТНЕВ

КОНТРАСТЫ ПРЕДГОРНОЙ НИВЫ

Природа не пожалела красок для яркого полотна предгорий. Весной увалы и долины одеваются в нарядное платье цветов — белого, желтого, кремового, голубого, розового тонов. Глаз не оторвешь! Еще более выразительную окраску предгорье приобретает летом. Все тут найдешь: изумрудное поле кукурузы и вьющийся по шпалере ввысь пьянящий запахом хмель, кудлатую коноплю и дурманящую махорку, молочные волны цветущей гречихи и раскидистые метелки проса, и, конечно же, огромные массивы золотых колосьев пшеницы, ячменя и овса. Словом, все растет. Сибирская Кубань! Жемчужина Алтая! В достатке здесь предгорные районы богатыми плодородными почвами. В иных местах животворящий слой достигает метра, а то и больше. До восьми-двенадцати процентов растительного перегноя, придающего почве особое качество, — оструктуренность, водоудерживающую способность, улучшает физические и физико-химические свойства ее. Нет равных черноземам почв по валовому содержанию азота. Только в двадцатисантиметровом слое запасы его составляют шесть-девять тонн на гектаре.

Много это или мало?

Агрохимики считают, что на формирование одного центнера зерна колосовых культур требуется в среднем 3,5 килограмма азота, 1,3 килограмма фосфора, 2,6 килограмма калия. Если к этому добавить, что физиологи и земледельцы установили расход воды на эту же меру зерна от 100 до 200 тонн (иначе говоря, от 10 до 20 миллиметров), а осадков выпадает в предгорьях до 600 и более миллиметров, то не трудно представить себе огромные потенциальные возможности местных условий для возделывания хлебных злаков.

Это и понятно. Природа веками создавала богатство, откладывала «про запас» все то ценное, что необходимо для новой жизни на земле. Сколько лет потребовалось природе для создания такого плодородного слоя? Никто не знает! Но исторические документы совершенно точно утверждают, что земледелие этой зоны молодое и насчитывает не более 150—200 лет. И связано оно в основном с переселенцами, осевшими в благодатных краях в конце прошлого века.

О прошлом земледелия этих мест можно узнать, полистав историко-статистический сборник «Алтай» по вопросам экономического и гражданского строительства, изданного в 1890 году под редакцией П. А. Голубева. Это необходимо сделать для того, чтобы иметь представление о тех изменениях, которые произошли в короткий исторический период.

Читаем: «В 82 г. еще повсюду был первобытный способ обработки земли; в это время почти вовсе не упоминается о каких-либо усовершенствованных земледельческих орудиях, хотя о высоких сортах пшеницы (белотурке) и были уже кой-где указания... Старожилы еще до сих пор придерживаются своей сохи, состоящей из железного лемеха в 8—12 вершков и деревянного отвала в 5 четв. без ножа; среди новоселов уже в 82 г. во многих местах, особенно Бийском окр., введен плуг; для целины в соху запрягают 4—5 лошадей, а хохлы употребляют плуг, в который впрягаются 2—3 пары лошадей, или чаще 4—5 пар волов. Борона употребляется одноконная деревянная с железными зубьями. Жнут обыкновенными серпами; овес при больших посевах и недостатке рабочих рук часто скашивают; молотба производится чаще овиная, цепями; рожь бывает чаще всего сыромолотая; с переселенцами начали вводить молотбу лошадьми, или простой конструкции молотилками, состоящими из тяжелого бревна, катаемого по разбросанным снопам лошадьми; но в последнее пятилетие начали появляться и усовершенствованные молотилки с конным приводом, чаще 5—6 конные. Проведение обыкновенно делается еще первобытным способом — на ветру; сортировки хлеба, до введения в некоторых местах усовершенствованных веялок с сортировочными ситами, не существовало».

Вот та база, на которой держалось сибирское земледелие в конце прошлого века. Такой она оставалась и до революции. Урожай собирали низкие.

Там же читаем: «В 82 г., когда урожай был удовлетворительный, с десятины чаще намолачивали ржи 60—80 пудов, а пшеницы — 80—120 пудов, овса — от 70 до 100 пудов. В 87 г., когда урожай был

ниже среднего, Намолот с десятины колебался весьма сильно: в Бийском окр. высший сбор ржи — 70—100, для пшеницы — 90, овса — 100—150 пудов; низший — для ржи-ярицы — 25 пудов, пшеницы — 25 пудов и овса — 50 пудов».

Были и такие годы, когда крестьянские семьи оставались совершенно без хлеба. Из Бийского округа сообщалось в «Сибирской газете»: «Население округа терпит страшную нужду: хлеба нет, денег нет, заработков никаких. Поденщик с лошастью рад бы наняться за 20 копеек, да никому он не нужен. Если в нынешнем 86 г. Бийский округ постигнет неурожай, то населению придется совсем плохо. У многих крестьян совсем нет хлеба на обсеменение полей».

Ушли те времена в лету, стали достоянием истории. На смену деревянной сохе пришли новые мощные почвообрабатывающие орудия. И впрягаются в них теперь не волы и лошади, а тракторы с мощностью двигателя от 80 до 300 лошадиных сил. И убирают теперь не серпом, а широкозахватными жатками. И молотят не цепами и примитивными молотилками, а мощными комбайнами, пропущенная способность которых составляет четыре-пять килограммов в секунду. Одним словом, техническая революция. Люди забыли социальное понятие — голод. И это главное завоевание социализма.

И если в прошлом обходились небольшими участками и получали хлеб до тех пор, пока поля были чистыми от сорняков, а с появлением их пашня забрасывалась на долгие годы в перелог, то теперь потребность в хлебе для людей и концентратов для животноводства явилась той причиной, что вызвало огромную распаханную землю. Все, что можно было распахать, — распахали. Теперь распахивать нечего. Современное земледелие ведется на освоенных землях — старопахке. Понятие «перелог» утратило свое агрономическое значение и для современного хлебороба звучит как неизвестное слово.

Какие же урожаи собирают по старопахке теперь при наличии мощной современной техники?

В практике хозяйств есть случаи, когда с отдельных участков сборы составляли озимых культур до — 56, яровых — до 45—48 центнеров с гектара. К сожалению, это только небольшие «островки» на огромном хлебном массиве. Более яркими контурами вырисовываются поля отдельных хозяйств, бригад, где масса колоса зернового клина перевалила за двадцать центнеров. О таких хозяйствах, бригадах говорят уважительно, делая ударение на «высокую культуру земледелия». И это правильно!

В предгорьях славится высокими урожаями бригада Виктора Матвеевича Трапезникова из колхоза им. Ленина, что в Петропавловском районе. Мне приходилось много раз бывать здесь, беседовать с механизаторами, изучать опыт. А поучиться тут есть чему. В прошлом году урожайность зерновых по колхозу составила 23 центнера, в бригаде — 27. За последнее десятилетие сборы зерна по бри-

гаде на центнер выше, чем по колхозу. Если учесть, что зерновых около 3000 гектаров, то, стало быть, на счету коллектива бригады выдано дополнительной продукции около тридцати тысяч центнеров. Вот что значит плюс один центнер! На вопрос: «В чем секрет успеха бригады?» — председатель колхоза Алексей Григорьевич Ефанов так сказал:

— Знает дело Трапезников, умеет работать с людьми.

Сам же Виктор Матвеевич скупко обобщил:

— Землю надо любить.

И все этим сказано. И нечего добавив. Землю надо любить!

Достанет, бывало, бригадир записную книжку из кармана и начнет историю поля рассказывать: когда и какой культурой было занято, какой урожай собрали и, конечно, какие сорняки росли. Отсюда вытекала и технология обработки почвы. Где росли бодяк и выюнок (т. е. корнеотпрысковые) — подрезали глубже, а где малолетки, — щетинники, щирца, горчица и тому подобные — обрабатывали мельче. Весной почва прогревается, и они тут как тут — режь брочвой или диском, что в бригаде есть. На чистых полях ранние культуры. Поторопливайся с севом, не теряй влагу; на засоренных — поздние культуры. Может быть, будет и в ущерб влаге, но уж сорнякам не сдобровать. Не подводило хлеборобское чутье бригадира, не подводила и земля-кормилица хлеборобов.

Другой пример. В Змеиногорском районе есть колхоз «Восход». В прошлом это было отсталое хозяйство. В среднем за седьмую пятилетку урожайность составила 10,9 центнера с гектара. В восьмой она подскочила до 17,6, в девятой перевалила за двадцать, в десятой прочно держится на 22—24. Восходцы оказались грозными соперниками для своего соседа колхоза «Россия».

Тот же вопрос задюю председателю колхоза Антону Григорьевичу Афанасьеву. А он будто сговорился с Трапезниковым:

— К земле с уважением относиться надо, а то кормить перестанет... — И тоже не стал распространяться, перевел разговор на другую тему. Больше говорил о том, что хозяйство нуждается в комплексном наборе машин и орудий, которыми Сельхозтехника снабжает еще нерегулярно и слабо.

И еще один. Алтайский район, пожалуй, самый благодатный по плодородию почв, осадкам. Но урожайность зерновых культур далеко не пропорциональна потенциальным возможностям. В первые два года десятой пятилетки сборы зерна оставались на уровне восьмой — 11,6 центнера, в 78 — 13,3, в 79 — 17,8, на таком же уровне завершается и последний год пятилетки.

Такие же колебания урожайности и по другим районам предгорья. Казалось бы, зона должна быть зоной стабильных высоких урожаев, но это не просматривается при анализе статистических отчетов по годам, пятилеткам. В чем причина? Где ключ к разгадке?

Весна 1974-го оставила в предгорьях свой след. Еще не зарубцевались раны от пыльных степных пожаров шестидесятих годов, краем хвативших эти места, как с новой силой стихия проявилась теперь здесь, в предгорьях. Черная буря пронеслась по увалам и ложбинам, унося огромную массу ценной плодородной почвы. Местами снос составил до 10 сантиметров; не нашли накануне заделанные в почву семена злаков и сахарной свеклы. Списали на стихию... Но пересейанные поля попали затем в полосу нахлынувшего суховея. И снова беда. Нет урожая. Задумались в хозяйствах, заговорили о плоскорезной обработке (по степным районам не отмечалось проявления стихии).

В феврале следующего года Усть-Калманское районное управление сельского хозяйства проводило научно-практическую конференцию. Руководители и специалисты хозяйств выступали активно. В один голос ораторы требовали: дайте плоскорезы — и стихии конец. Практическим завершением ее было принятие рекомендаций. Привожу содержание второго пункта: «В целях предотвращения водной, ветровой эрозии и стока талых вод шире применять почвозащитные приемы земледелия, для чего: а) в каждом хозяйстве не менее 70 процентов зяби пахать безотвально, плоскорезами; б) на всех чистых парах, а также в полях многолетних трав, зерновых культур проводить посев кулис, на сильно эродированных землях перейти на полосное размещение многолетних трав с посевами других культур». В общем-то написано правильно, и для каждого хозяйства рекомендации должны стать руководством к внедрению новой технологии.

Подобные конференции прошли и по другим предгорным районам. Уж очень наглядным был пример степного земледелия — сдержала там стерня порывы ветра, не дала развиваться цепной реакции измельчения почвенных частиц, удержала их подъемную силу. А самое главное — степные хозяйства дали прирост урожая на два центнера с гектара по сравнению с предшествующей пятилеткой. Предгорные же оставались на старых рубежах, имея лучшие почвенные и погодные условия для формирования урожая.

По отчету на 1979 год новая почвозащитная технология обработки почвы в предгорьях нашла применение лишь на 12—15 процентах площади пашни. В том же Усть-Калманском районе плоскорезами было обработано чуть больше двадцати тысяч гектаров, в Смоленском — пяти тысяч не освоили, в Алтайском — 1380 гектаров. Среди районов интенсивно освоили новую технологию змеиногорцы.

В чем же причина таких низких темпов внедрения новой технологии? Что она не оправдала себя? Или эрозия прекратилась? Ни то и ни другое. В одних хозяйствах, поверив в силу плоскореза, пошли на вытеснение отвального плуга, в других — остаются «верными и преданными» отвалу, плоскорез не прижился.

— В мае 79-го со всей предгорной округи катили машины в Михайловский совхоз. Ехали агрономы и инженеры, чтобы изучить опыт приготовления гранул. Довелось и мне побывать. Директор совхоза «Сосновский» Чарышского района Леонид Васильевич Ковалев любезно пригласил: «Поедем, может, увидим крупицу полезного».

Не скрою, много увидел тогда полезного, но не обошлось и без горечи. Полезное — это как в совхозе «Михайловский» поля обработаны плоскорезами. Потускневшая от времени стерня все еще щетинилась на поле, сдержала талые воды, не дала им превратиться в разрушительную силу. По полевым дорогам сновали тракторные тележки, подвозившие солому к кормоцеху. Там ее измельчали, перемалывали, добавляли различные компоненты и в конечном итоге — гранулы. Питательные гранулы. Анатолий Иванович Шведов, бригадир-технолог кормоцеха, сообщил:

— Дойный гурт при скармливании соломенных гранул увеличил суточный надой на корову на полтора литра.

Что скажете? Доброе дело освоили михайловцы. Затем и ехали сюда, чтобы перенять опыт.

По дороге в Михайловку увидели и плохое. Едва минули центральную усадьбу Огневского совхоза, и перед глазами открылась невообразимая картина: рядом с дорожным полотном покоились барханы смывтой почвы. Талые воды унесли с поля плодородие, оставив следы разрушительной силы в виде глубоких промоин, рытин. Вот тут бы и применить пункт рекомендаций: «На сильно эродированных землях перейти на полосное размещение многолетних трав с посевами других культур». Но нет. Не дошел этот пункт до сознания огневских специалистов. По огневским полям бороздит плуг, готовя новые слои плодородной почвы к сносу.

И не только это. Проезжая по дорогам Огневского совхоза, трудно было дышать от едкого дыма пожаров. С чьей-то легкой руки, правильно будет сказать — тяжелой, недоброй руки, огненные факелы переносились от одной кучи к другой. Всполохи огня и дыма высоко поднимались над полем. Невольно подумалось: уничтожают фундамент, на котором покоится жизнь. Зачем же сжигать солому, когда она собрана в большие кучи. Запривить их в стога и пусть лежит, если в этот час нет возможности пустить ее в дело. Ведь добрые люди из нее гранулы готовят, в продукцию перерабатывают, наконец, прессуют и про запас складывают. Разве забыли в «Огнях», когда всем районом ехали в Оренбуржье заготавливать солому, чтобы как-то сохранить скот? Забыли. И плохо, что забыли. Если, предположим, хозяйству не требуется иметь большие излишки соломы, тогда и не надо собирать в копны, стягивать в кучи.

Проще солому разбрасывать при обмолаоте валков. Пусть она прикрывает почву от высушивания, защищает ее от выдувания и вымывания. Солома и пожнив-ные остатки быстро теряют прочность,

разлагаются. Разложившаяся масса частично минерализуется, частично пополняет кладовую плодородия поля. Чем больше органики в почве, тем лучше ее физические свойства, водоудерживающая способность. Разве эти прописные истины не известны агрономам? Известны, но...

Смысл плодородия — отрицательное проявление действия отвальной обработки.

* * *

Плужная система обработки почвы существует тысячелетия. Вначале почву обрабатывали прототипами плуга (сохой и орудиями, родственными ей), затем в конце XVIII века появляется отвальный плуг. С появлением плуга стала развиваться наука по обработке почвы, на теоретических и практических основах которой покоится современное земледелие.

В условиях избыточного увлажнения (в европейских странах осадков выпадает свыше 1000 миллиметров), а также в орошаемом земледелии все приемы и способы, усиливающие аэрацию, прогревание и временное высушивание почвы, являются закономерными и оправдывают себя. Что же касается районов с неудовлетворительным увлажнением, то, как писал В. В. Докучаев: «Должна быть выработана своя, русская агрономия, свои собственные приемы, свои собственные хозяйственные рецепты, специально приуроченные к восстановлению нарушенной неумелой культурой физики почв и к возможно полному использованию небогатой и, главное, капризной влаги» (Сочинения. М., т. 6, стр. 314, 1951).

Земледельческий опыт Европы не мог оказать влияния на зерновое хозяйство Сибири и Казахстана. Переселенцы пришли в степи со сложившимися взглядами, технологией и техникой, выработанной в природно-климатических условиях, отличающихся от природы степей. С тех пор и до наших дней в земледельческой науке идут жаркие споры и дискуссии по теории обработки почвы.

В конце прошлого века сторонники глубокой отвальной вспашки убедились на примере голодных лет (1891—1896 гг.), что она не имеет преимуществ перед мелкой обработкой.

В те годы огромный резонанс вызвала работа Ивана Евгеньевича Овсинского «Новая система земледелия», изданная в 1898 году. На страницах 86—87 он писал: «На девственных степях и в лесах, где человек не попортил почвы глубокой вспашкой, природа без чилийской селитры и суперфосфата производит такую обильную растительность, какой ни один поклонник глубокой вспашки создать не в состоянии, хотя бы он искусственные удобрения употреблял возами. Потому что тот вред, какой приносит почве глубокая вспашка, никакие искусственные средства не в состоянии вознаградить... Приверженцы глубокой вспашки оказываются необходимыми в борьбе с засухой или же наоборот — почва, глубоко вспаханная, слишком намокает во время дождей, что тоже уменьшает урожай, и часто даже

губит его окончательно. Глубокая вспашка лишает возможности регулировать влагу в почве...»

Защищая идею мелкой обработки почвы, Овсинский писал: «При мелкой двухдвудюймовой (5 см) вспашке верхний слой, богатый органическими частицами и действующий наподобие лесной подстилки, не образует коры, воздух же, циркулирующий по каналам, созданным гниющими корнями растений, вызывает быстрое разрыхление на значительную глубину почвы, мелко вспаханной и вследствие этого отлично приспособленной к произрастанию не только злаков и бобовых, но даже и корнеплодных растений» (с. 95—96).

Идеи Овсинского в те времена не нашли поддержки в стране. Покидая родные места, переселенцы увозили и опыт мелкой обработки почвы.

И по сей день некоторые ученые стараются опровергнуть доводы Овсинского, доказывая целесообразность отвальной глубокой вспашки. Конечно, в те времена техническая оснащенность земледельческих работ стояла на очень низком уровне. Но нельзя отрицать того, что является ценным с современной точки зрения. Это прежде всего то, что ему удалось доказать возможность получения высоких урожаев пшеницы при условии отказа от ежегодной отвальной вспашки. Доказать громадное значение мульчирующего слоя для предотвращения излишних расходов влаги на физическое испарение. Идеи Овсинского дали новый толчок развитию науки о почве.

Идею о мелкой обработке почвы развивал и Николай Максимович Тулайков. В 1932 году он писал: «Недостаточно ли на самом деле подготовить наилучшим образом тот слой почвы, в котором мы намерены поместить семена растений при посеве, если корни молодого растения уже через несколько дней уйдут за этот вспаханный по всем канонам науки слой почвы» (К вопросу об основной вспашке почвы. Социалистическое земледелие, 1932, 4 мая).

В тридцатые годы огромную популярность приобретают утверждения Василия Робертовича Вильямса, что «никакой прогресс в сельскохозяйственном производстве немислимы при глубине пахотного слоя меньше 20 сантиметров». Утверждения исходили из его теоретических разработок по отвальной обработке почвы. Теория же исходила из представления о различии в газовом составе нижней и верхней слоев пахотного слоя. В нижней половине содержится больше углекислоты и потому в нем протекают анаэробные процессы; в верхней же части пахотного слоя, где мало углекислоты и много кислорода, идут аэробные процессы. Анаэробные условия вызывают процессы восстановления структуры и плодородия почвы, аэробные — разрушения структуры и снижения плодородия. Поэтому считалось необходимым ежегодные перемещения этих слоев.

Оснащение сельского хозяйства тракторами, почвообрабатывающими орудия-

ми в довоенный период позволило широко применять глубокую отвальную вспашку независимо от почвенно-климатических условий.

В августе 1954 года в колхозе «Заветы Ленина» Шадринского района Курганской области проводилось всесоюзное совещание, где с докладом «О методах обработки почвы и посева, способствующих получению высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур» выступил колхозный полевод Терентий Семенович Мальцев.

Более тысячи человек присутствовало на этом совещании: видные ученые страны, руководители партийных и советских организаций, работники научно-исследовательских институтов и опытных станций, агрономы. Доклад колхозного ученого прозвучал, как гром среди ясного неба. Терентий Семенович заявил: «Мы пришли к выводу, что ежегодно под каждую высеваемую культуру глубоко пахать почву нельзя, а нужно лишь проводить мелкое, поверхностное лушение».

Всю свою жизнь Мальцев посвятил земле, полю. Еще в молодые годы перечитал он труды известных авторитетов агрономической науки: Менделеева, Костычева, Измаильского. Запомнил он высказывания и Плиния Старшего, который еще в древности говорил: «При возделывании злаков... земля окажется плодороднее всякий раз, когда ей дать отдых от обработки». После чтения классиков агрономической науки задумывался: «Почему «культурной пахотой» считается только отвальная вспашка и обязательно с предплужниками?» Естественное плодородие, создаваемое за счет растений, ежегодно запахивалось вниз, глубоко. И перед ним вставал вопрос: как добиться такого положения, чтобы создаваемое в верхних горизонтах плодородие не пряталось отвальными плугами, а всегда было рядом с высеянными семенами.

Всю жизнь Терентий Семенович посвящал исканиям ответов на поставленный вопрос и по-философски мудро, и по-крестьянски просто ответил: «Прогрессивное плодородие почвы создают не только многолетние, но и однолетние растения».

В книге «Поле — моя жизнь» Терентий Семенович пишет: «Дело здесь, видно, не столько в особенностях тех или иных видов растений, сколько в условиях, в которых они растут, отмирают и разлагаются. Для нас стало ясно, что не во всех условиях растениям свойственно одинаково накапливать в почве органические вещества, а лишь в условиях, подобных естественным, где земля не пашется (с оборотом пласта), где верхний слой почвы всегда остается на своем месте, наверху, а не запахивается в нижние горизонты. Одновременно с этим мы допускаем, что одни виды растений (например, многолетние) могут обогащать почву органическим веществом в большей мере, другие (однолетние) — в меньшей, но все они, хотя и в разной мере, обогащают ее. В культуре земледелия многолетние и однолетние растения лишь дополняют друг друга».

Ссылка на теоретические доводы колхозного ученого необходима, так как они и по сей день являются фундаментом, на котором основывается получившая в стране широкое распространение новая почвозащитная система земледелия.

В чем же суть безотвальной обработки почвы, как теперь говорят, «мальцевской»?

В той же книге Терентия Семеновича на страницах 43—44 читаем: «...землю пашем безотвальными плугами (без оборота пласта) на глубину 30—40 сантиметров. В последующие годы проводим поверхностную обработку почвы широкозахватными дисковыми лущильниками; при этом стерневые и пожнивные остатки хорошо перемешиваются с поверхностным слоем почвы, в результате чего верхний и нижний слои почвы обогащаются органическим веществом и улучшаются их физические свойства».

За ротацию севооборота поле один раз подвергается глубокому рыхлению, а остальные 4—5 лет на поле проводится мелкая поверхностная обработка.

В годы целинной эпопеи рекомендации Мальцева всколыхнули агрономические умы, но вскоре «запал» стал угасать. В научной литературе нет-нет, да и подвергается сомнению теоретическая разработка колхозного ученого. Потом стали и вслух поговаривать: не подтвердилось, не проявила себя.

Известно, что новое с трудом внедряется, если рядом соперничает старое, отлаженное. По старинке, как говорят, работать легче и спроса меньше. Новому же на первых порах нужны подпорки, поддержка во всех инстанциях. Там, где вникли в суть этой системы, безотвальная система нашла подтверждение и полностью внедрена. Теперь уместно будет сказать: высокие урожаи бригада Трапезникова и получает за счет безотвальной обработки почвы, давшей возможность своевременно проводить осеннюю обработку почвы и успешно бороться с сорняками.

Что же касается колхоза «Заветы Ленина», где работает почетный академик ВАСХНИЛ Т. С. Мальцев, то урожаи там всегда высокие и стабильные. Приведу еще несколько строк из его книги: «Несмотря на сильную засуху последних лет (из пяти лет четыре были сильно засушливыми), урожай яровой пшеницы в нашем колхозе в среднем за пять лет все же составил 20 центнеров с гектара, хотя мы не вносили каких-либо удобрений. В 1955 году у нас были посева на полях, которые не пахались в течение пяти лет. Здесь мы собрали урожай яровой пшеницы более 20—25 центнеров с гектара».

Приходится сожалеть, что в те далекие целинные годы не придали такой остроты и злободневности новой безотвальной системе обработки почвы. Не придали этому внимания прежде всего научно-исследовательские институты, а если прямо сказать — то не поддержали. На страницах газет и журналов, плакатов аршинными заголовками пестрели призывы: «Пахать зябь глубоко плугом-силачом». И пахали! К лемеху приваривали еще усилитель-силач, который выступал вперед сан-

тиметров на десять-пятнадцать и способствовал заглублению. Пахота получалась глыбистой. Чтобы как-то выровнять поверхность, цепляли дополнительно катки. И без того тяговое сопротивление было на пределе, теперь оно становилось невозможным. Трактор надрылся, выбрасывая черные клубы дыма. Чертыхался тракторист, вспоминая прабабушек. И только в ответ слышал:

— По-научному...

Чем это закончилось — известно. Пришлось ехать за рубеж, в Канаду, изучать опыт... свой, российский, с преломлением теперь к условиям сухой ветреной степи. И хорошо сделали, что изучили и создали свое, не уступающее зарубежному. Авторы новой почвозащитной системы по достоинству вознаграждены государством. Почвозащитная система шагнула далеко за пределы сухой степи. Но... не в предгорье. В чем причина?

* * *

Совхоз «Ануйский» Петропавловского района был одним из хозяйств предгорной зоны, пострадавших от майской пыльной бури семидесят четвертого. И в этом совхозе заговорили о почвозащитной обработке.

— Помогите техникой! — раздавались голоса.

Конечно, враз обеспечить все хозяйства полным шлейфом почвозащитной техники не представляется возможным, но все же к концу лета удалось достать для совхоза три плоскореза. Привезли из заринской Сельхозтехники. Маловато. Но для начала, как говорят, для эксперимента хватило и этих.

На поле, что рядом с полевым станом, имеющим склон до трех градусов, отладили плоскорезы, и бригадир Алексей Сворцов напутствовал механизатора:

— Так и паши.

Дело было под вечер. Убедившись, что глубина рыхления соответствовала агрономическим требованиям, а стерня по-прежнему щетинилась вслед плоскорезу, все разъехались.

Утром следующего дня снова поехали на поле оценить качество выполненной работы, а заодно и прикинуть производительность агрегата в работе по новой технологии. Приехали и ахнули: рядом с серой полоской, обработанной плоскорезом (прошел агрегат четыре круга), вороненым крылом отливала отвальная зябь.

Опять к бригадиру:

— Что случилось? Почему отвально пашете?

Сворцов с горечью:

— Отпахались... Сам утром приехал на смену и глазам не поверил. Плоскорез стоит, а плугом пашут. Зачем, спрашиваю тракториста, плуг прицепил? А он в ответ:

— Не буду портить землю!

— Как так — портить?

— А вот так! Дед мой пахал плугом, отец пахал плугом и меня учили — как надо пахать. Если ты, бригадир, толк понимаешь, то погляди, что получается; лемех подрежет пласт земли, а отвал — тут как тут — поднимет, раскрошит и все сор-

няки засыпит. А что плоскорез... Глазам противно смотреть на такую работу.

— А плоскорез стерню оставляет, чтобы землю весной не размывало.

— Сколько плугом пахали и не размывало.

— А отчего гора вон — лысая?

Так вот и поговорили. Бросил трактор и пошел. Теперь не пашется зябь ни плугом, ни плоскорезом.

Да, так было. Не только в этом совхозе.

Не нашли широкого применения и стерневые сеялки СЗС-9 и СЗС-21. Причин для объяснения нашлось много: непроизводительна, оставляет широкие междурядья (22,8 см вместо 15), посеvy выходят засоренными...

Словом, под всяким предлогом сдерживается применение новой почвозащитной техники.

Вот что сообщил мне в письме главный агроном районного управления сельского хозяйства Солонешенского района М. И. Лайша: «Район находится в горной местности, основная обработка — отвальная. При таком количестве осадков развита водная эрозия; ветроударные склоны, обработанные отвально, подвергаются ветровой эрозии. Если дальше продолжать отвальную обработку, то через десять-двадцать лет мы придем к плачевным результатам. В хозяйства завезены плоскорезные орудия обработки, бороны БИГ-3 и другая техника. Однако на сегодня практически в районе дело обстоит плохо. Причина тому одна — руководители и агрономы психологически не подготовлены... В апреле 79 года силами агрономической службы района была проведена агрономическая конференция по обработке почвы, севооборотам. Однако плоскорезная обработка, как элемент почвозащитной системы, не нашла поддержки, и все вернулось в прежнее русло...»

Вот так. Есть в хозяйствах плоскорезы, есть игольчатые бороны, другая техника, а почвозащитная обработка не внедряется. Продолжают пахать отвально.

Весной прошлого года хозяйства Алтайского района подверглись губительному действию ветровой и водной эрозии. Вначале от пыльных бурь часть посевов погибла (занесло семена мелкоземом), потом обрушились ливневые дожди — образовались промоины, рытвины. Это тоже результат отвальной обработки.

Что же алтайцам мешает обрабатывать почву по новой технологии? Может, нет у них плоскорезов?

Будучи в командировке в Алтайском районе, решил зайти в местную Сельхозтехнику, поинтересоваться заявками от хозяйств на почвозащитную технику. Георгий Романович Казанцев, заместитель управляющего этой организации, прокомментировал отношение специалистов к почвозащитной технике. Достал толстую книгу заказов, отыскал нужные страницы:

— Вот, пожалуйста. На восьмидесятый год заявлено плоскорезов КПГ-250 — четыре, КПП-2,2 и КПШ-9 — нет, культиваторов КПЭ-3,8 — нет, сеялки СЗС-2,1 — нет. Отвальных плугов — 23.

Не густо. Если бы даже больше было заявлено плоскорезов, то все равно нужна другая почвозащитная техника. Ее в заявках нет. Прошу Казанцева заглянуть в заявки 81 года.

— Боюсь, не утешу. Помнится, что ничего из противэрозионной не заказано, — с горечью заметил он, доставая другую объемистую книгу заказов техники. Так и есть, ничего. Зато отвальных плугов с избытком — 72.

Ну а как же в прошлые годы Сельхозтехника снабжала хозяйства почвозащитной техникой? Казанцев говорит:

— В 1978 году из Белгородской области приходили КамАЗы и увезли плоскорезы из Майминской МРО.

Обидно. И по меньшей мере странно. Люди едут за тысячи километров. А тут дома никто не взял.

По долгу работы мне постоянно приходится встречаться с руководителями колхозов и совхозов, беседовать на семинарских занятиях, в перерывах. Вопрос один и тот же, ставший почти дежурным: почему медленно внедряется почвозащитная технология обработки почвы, в целом система земледелия?

И тогда возникает спор, высказываются противоположные мнения. Это понятно. Край большой. Что ни зона, то свои особенности. Попробуй, учти их все. Но главные доводы сводятся, пожалуй, к одному: почвозащитная обработка способствует засорению полей. И тогда даже степняки вынуждены тайком, украдкой от сторонних глаз запустить отвальный плуг, похоронить, законсервировать на годы семена многолетних сорняков.

Директор совхоза «Пролетарский» из Алтайского района Василий Лукич Бакалов так объяснил отказ от плоскорезной обработки:

— Плоскорезная в наших условиях не оправдывает себя потому, что в горных условиях по такой обработке-ране не заедешь на пашню. Тракторы тонут, влаги много накапливается. Дождаться тоже нельзя — сроки уйдут, пшеница не вызреет. Вот она в чем проблема!

— Зачем же в горах пшеницу сеять? Сайте то, что животноводству необходимо, — фуражные культуры, у них вегетация короче.

— Нельзя отступать от плана.

— А то, что ежегодно тысячи тонн плодородной почвы уносится с вешними водами — план предусматривает?

Вот оно первое налицо безмолвное отношение к защите плодородия почвы, к внедрению нового.

Василий Кириллович Чуркин возглавляет совхоз «Парфеновский» Топчихинского района.

— Почвозащитная система в совхозе сначала прижилась хорошо, — говорит он, — урожаи заметно поднялись. Даже в сухие годы получали 12—14 центнеров с гектара. А потом...

Директор замолчал, что-то точило его душу, не хотел говорить вслух.

— Видно, техники маловато или нет в полном наборе, — стараюсь натолкнуть на мысль собеседника.

— Техники маловато, это факт, не в полном наборе, но и с этим мириться можно. Другое, — директор вздыхает, — каждый год возникает проблема: останется пар или нет? Начинается посевная — и тут же звонок: «Добавьте столько-то гектаров пшеницы». Говоришь: «За счет чего добавлять?» Отвечают: «Посмотрите на малопродуктивные травы». Легко сказать — травы. А скот кормить чем? Трав-то тоже не густо в хозяйстве. Вот и идешь на сделку с совестью — занимаешь пар. И знаешь, что делать этого нельзя, а делаешь. Кого обманываем? Пара в севообороте нет, поля заросли. Что делать? Давай опять отвальный плуг на поле...

* * *

Поезд Барнаул — Днепропетровск медленно набирал скорость. За окнами мелькали пристанционные площадки, красовались темно-зеленые сосны, березовые колки, а потом и степь в ажурном убранстве лесных полос. В коридорах двух последних купейных вагонов оживленно беседовали слушатели ФПК из сельхозинститута. Путь их — в Шортанды к академику Бараеву на совет... Прильнув к окнам, они смотрели вдаль, щурились от отраженных мартовским снегом лучей солнца, подшучивали, когда видели на полях редкие снежные валы или вырубленную лесополосу, чернеющую полосу, поднятую отвальным плугом. Шутили остро, шутили над изъятиями на полях, прилегающих к железной дороге.

Километрах в двадцати пяти-тридцати от железнодорожной станции Кулунда промелькнула последняя лесная полоса. Ровной лентой убежала она вдаль, отделяя Алтайскую степь от Казахстана. А дальше однообразная картина. Ни кустика. Лесополосы только вдоль железной дороги да населенных пунктов. Снег удерживался стерней, на полях то и дело мелькали завитки снегопахов. Как на ватманском листе чертежник наводил строгие линии, так и на поле, прямоугольные снежные валы, один от другого четыре метра и не больше.

Такие же снежные валики от Целинограда до Шортанды.

Многие из слушателей уже бывали во Всесоюзном научно-исследовательском институте, слушали лекции ученых, смотрели почвозащитную технику в работе, любовались чистыми, высокоурожайными полями. Некоторые ехали впервые.

— Как же, — встречая гостей, радушно говорил заместитель директора Эрвин Францевич Гоосен. — Алтайцам всегда рады. Поделится опытом. Только вот сам Александр Иванович приболел, но голос его услышите...

Мне приходилось и раньше бывать в этом институте, подробно изучать теоретические основы почвозащитной технологии и в целом систему земледелия, и помню, как Александр Иванович убежденно рассказывал:

— Систему назвали почвозащитной потому, что она защищает почву от выдувания. Классическая отвальная обработка

способствовала развитию эрозии. При работе новых почвозащитных орудий остается стерня до 80 и больше процентов на поле, что способствует накоплению снега на полях до 35—40 сантиметров или 1100—1200 тонн воды. По такой обработке лучше идет аккумуляция осенних и зимних осадков.

Академик приводил много данных исследований своего института, Павлодарской опытной станции, нашей Кулундинской, отдельных хозяйств, где, внедрив новую технологию, остановили ветровую эрозию, значительно повысили урожайность.

— Присмотритесь к жизни полей, обработанных отвально и плоскорезами, — настоятельно рекомендовал Бараев. — Что в них происходит осенью. По отвальной обработке усваивается всего лишь 19 процентов от суммы осенних осадков, а по плоскорезной — до 57 процентов. Лучшее накопление влаги осенью на полях, где сохранилась стерня, обуславливается тем, что стерня снижает скорость ветра и температуру поверхности почвы, существенно влияет на уменьшение испарения почвенной влаги.

— А как усваиваются зимние осадки? — продолжал Александр Иванович. — Накопление запасов продуктивной влаги в почве осуществляется главным образом за счет зимних осадков, сумма которых по различным районам достигает от 80 до 190 миллиметров. Только при сохранении этого количества на полях можно было бы значительно улучшить снабжение яровой пшеницы влагой в течение вегетации и получать высокие урожаи. На почвах, обработанных плоскорезами с оставлением стерни, отмечается своеобразие в характере таяния снега. В самом начале вокруг каждой стернинки образуются воронки, которые способствуют лучшему проникновению в снежную толщу теплого весеннего солнца и воздуха. По этим воронкам вода от растаявшего снега свободнее достигает почвы и лучше в ней накапливается. Так как вода имеет положительную температуру, то, проникая в почву, она способствует таянию в почвенных капиллярах кристаллов льда. Растаявшие кристаллы освобождают почвенные капилляры, по которым талая вода проникает в глубокие слои почвы. Вот и получается, что по плоскорезной обработке впитывается две трети зимних осадков (одна треть идет на испарение и сток), а по отвальной обработке усваивается одна треть, остальные запасы расходуются главным образом на сток.

Аргументы очень убедительны, ясны. Казалось бы, закупай плоскорезы и работай повсеместно, накапливай влагу, не останешься в проигрыше. Но нет. Старая, отживающая свой век классическая отвалка не сдается. У нее есть и очень много своих последователей.

...И еще одно высказывание А. И. Бараева:

— Распространителем почвозащитной системы земледелия является производствo, но не ученые. Мы говорили и говорим: почвозащитную систему нельзя слепо пе-

ренести из одних почвенно-климатических условий в другие. Надо проверить и, убедившись в ее пригодности, можно смело внедрять. Нам не раз задавали вопрос: как почвозащитная система будет справляться с корневыми гнилями, зерновой совкой? Теперь мы отвечаем на эти вопросы — и корневых гнилей, и вредителей стало меньше.

Выдержала временем испытание почвозащитная система земледелия. Шагнула далеко за пределы Казахстана. Ныне 35 миллионов гектаров земель обрабатываются плоскорезами. Это внушительная величина.

...Мы поднимаемся на второй этаж главного корпуса Всесоюзного научно-исследовательского института зерновых культур. На стенде портреты лауреатов Ленинской премии: А. И. Бараева, Э. Ф. Гогосен, А. А. Зайцевой и других. Ленинская премия присуждена за разработку почвозащитной системы, позволившей остановить стихию, пыльные бури, защитить почву от эрозии, сохранить и приумножить ее богатства для людей.

Рядом с портретной галереей еще один стенд. Он был оформлен по случаю притока огромного количества телеграмм в адрес академика. Александра Ивановича поздравляли министры, руководители краев, областей, коллективы НИИ, колхозы, совхозы, отдельные лица по случаю присвоения ему почетного звания Героя Социалистического Труда.

Алтайским руководителям колхозов и совхозов была предоставлена возможность ознакомиться с историей становления института, прослушать выступления ученых.

Приведу несколько цифр. В Целиноградской области, где расположен научно-исследовательский институт, до освоения новой почвозащитной системы урожайность была 6,1 центнера. К 1975 году урожайность поднялась до 9,9 центнера с гектара, за четыре года десятой пятилетки — до 11,6, в том числе в 1979 году 17 центнеров. И это в условиях, едва ли лучших в сравнении с алтайскими.

Вопросов было много. Руководители хозяйств старались уяснить для себя значение почвозащитной системы, технологии возделывания зерновых и пропашных культур, роли лесных полос на полях, как бороться с сорняками при бесплужной обработке почвы.

На многочисленных вопросах отвечал академик Александр Иванович Бараев... с экрана.

— В чем суть почвозащитной системы земледелия? — как бы повторял он заданный вопрос. И тут же отвечал, демонстрируя суть ее на огромных массивах. По полю двигались мощные тракторы с плоскорезами и другой противозерозионной техникой, позволяющей сохранить стерню на поверхности земли. Стерня не дает разыгрываться пыльным бурям, которые уносят с полей плодородие.

На экране проплыли кадры, напоминавшие зрителям о стихийном бедствии пыльных бурь, о человеческом разуме, остановившем стихию.

— Только четко отработанная система способна остановить эрозию почвы, возродить землю к жизни, поднять ее почвенное плодородие, — продолжал Александр Иванович, — а не отдельные звенья, которые вне системы теряют свою силу и назначение.

Слышу шепот справа:

— Что он скажет о паре?

И снова в кадре академик. Степной ветер ворошит реденеющие белые волосы, от жаркого сухого лета лицо загорелое. На широком высоком лбу продольные неглубокие складки. Глаза щурятся от яркого солнца, отчего в уголках кожа собирается в мелкие морщинки.

— Почвозащитное земледелие, — говорит Бараев, — предусматривает обязательное наличие чистых паров в севооборотах. Наиболее высокий урожай пшеницы и наивысшее ее производство обеспечивает четырехпольный севооборот, в котором одно поле — чистый пар. Средняя урожайность пшеницы за четыре года пятилетки в опытном хозяйстве института составила 19,5 центнера, а выход зерна с гектара пашни — 14,7 центнера.

Вот так! В сухой степи урожайность высокоценной культуры яровой пшеницы 19,5 центнеров! Это при среднегодовом количестве осадков в два раза меньше, чем в предгорьях. Это выше, наконец, урожая, которые получают наши степняки. Дело здесь, конечно, не только в почвозащитной обработке, но и в паровом поле, являющемся неотъемлемой частью этой системы.

Вот что писал в статье «Важный резерв» А. И. Бараев в газете «Правда» в августе 1980 года: «По этой проблеме (проблема пара в севообороте — Н. Ш.) в нашей стране велись да и продолжают до сих пор горячие дискуссии. Кстати, нет еще единого взгляда на проблему и среди производителей целинных областей. Так, в Кустанайской области, где под чистые пары отведены меньшие площади, чем у соседей, средняя урожайность за четыре года десятой пятилетки по сравнению с восьмой поднялась только на 0,5 центнера. Что касается девятой пятилетки, то по сравнению с восьмой с каждого гектара здесь собрали на 2,7 центнера меньше. Примером обратного порядка может служить Северо-Казахстанская область. Здесь чистыми парами занято около двадцати процентов пашни, а урожай в нынешней пятилетке составил 16,2 центнера с гектара».

И еще один важный момент этой статьи: «Задача научных учреждений и практиков заключается в совершенствовании приемов, применительно к местным почвенно-климатическим условиям, научно обоснованным севооборотам и высеваемым культурам. Но остается одно непеременимое условие — отказ от обработки почвы плугами с отвалом».

...Уезжали из ВНИИЗХ убежденными в целесообразности внедрения всего комплекса почвозащитной системы. Чей-то голос из купе:

— Есть над чем работать агрономам...

* * *

Пункт десятый «Положения о специалистах сельского хозяйства» гласит: «Для решения практических задач по ускорению научно-технического прогресса специалист сельского хозяйства должен иметь ясный творческий план, направленный на наиболее рациональное использование земли, техники и других средств производства, быстрейшее освоение прогрессивных технологий в земледелии и животноводстве, неуклонный рост производительности труда и эффективности производства, а также профессиональной квалификации специалиста».

Итак, профессиональная квалификация специалиста. В приложении к специалисту агрономической профессии — это значит умело применять на практике сумму знаний, полученных в учебном заведении, руководствоваться объективными законами земледелия.

Весь ход земледельческих работ определяется природой. По этому поводу Терентий Семенович Мальцев говорил: «Представьте себе шахматную доску, за которой двое: Человек и Природа. При этом белыми фигурами всегда играет природа. За ней право первого хода. Она определяет и начало весны, и жару приносит, и холода, и засухи, и заморозки. Нужно на каждый ход Природы, пусть самый неожиданный, ответить...» Ответить должен агроном. Это его поле деятельности. Природа «назначает» сроки начала полевых работ и их завершение, и она же нередко «срывает» их, путая замыслы агронома. В этом и есть творческий подход к делу в конкретных условиях, его высокий профессионализм.

Мне запомнился ответ главного агронома ордена Ленина колхоза «Россия» своему коллеге из колхоза «Степной», утверждавшего, что в предгорьях бороться за высокие урожаи легче, сама природа помогает. На это Меркулов ответил: «Природа природой, но ведь главным-то источником повышения отдачи земли были и останутся творчество агронома и труд механизатора».

Ивана Андреевича Меркулова я знаю давно, приходилось бывать с ним на колхозных полях, в лаборатории, опытном поле. Поля «России» в Змеиногорском районе несколько не выделяются по сравнению с полями других хозяйств предгорья. Такие же склоны, увалы. 91 процент пашни расположен на склонах в 3°—6°—8°. Такие же типичные выщелоченные черноземы, то же количество осадков. А вот порядка на земле больше. Это действительно хозяйство высокой культуры земледелия. Не найдете вы в колхозе бросовых земель, лишних дорог, все подпахано, все в обороте.

Знакомлюсь со слагаемыми стабильных высоких урожаев. Вот они: на склоновых полях введены почвозащитные севообороты с многолетними травами, зернопаровые севообороты с короткой ротацией. По плоскорезной зяби размещается 70 процентов посевов. Почвозащитная обработка земли проводится на всех склоно-

вых участках, на полях, идущих под пары и предназначенных для повторного посева яровой пшеницы. Наряду с основной почвозащитной обработкой почвы ежегодно на площади в 400—500 гектаров проводятся специальные приемы: щелевание и лункование язби, по многолетним травам — щелевание. Излишки соломы измельчаются и используются для мульчирования почвы. Полторы тысячи гектаров каждой осенью укрываются мульчей, способствующей обогащению почвы перегноем, снижающей испаряемость влаги. Все приемы обработки направлены на максимальное сохранение влаги в почве, на борьбу с сорняками. В колхозе давно забыли о весеннospашке, ранее значительно снижавшей урожайность с гектара. На каждое поле заведена агрохимическая карточка. Все в ней узнаешь: и сколько элементов питания было перед посевом, и сколько осталось после уборки. Делай, агроном, вывод: сколько надо внести удобрений под будущий урожай.

Заметили колхозные агрономы и еще одну особенность: при густых посевах дружнее идет созревание, меньше места для сорняков, выравненное зерно. Значит, надо проверить посев узкорядным и перекрестным способами. Что это, новость? Нет! А вот в «России» 40 процентов зерновых именно так сеют.

Запомнилось и опытное поле главного агронома. Иван Андреевич тогда рассказывал о каждом сорте испытываемой культуры и с особым ударением подчеркивал:

— Как агроном может работать без опытного поля? Это же его путеводитель, зеркало. Как можно внедрять сорт, если он не проверен для конкретных условий. К примеру. Кинулись все на предгорьях внедрять Грекум 114, отвели большие площади, а он не оправдал себя.

А вот всем известный сорт Саратовская 29. Сколько лет живет этот сорт? Уже давно пришли ему на смену лучшие — Новосибирская 67, Луганская 4, а внедряются они медленно.

— Смотрите, — говорит Меркулов, — какой колос, озерненность. Мы намерены заменить Саратовскую 29 более перспективными и урожайными сортами.

Помню расчеты главного агронома по реализации товарного зерна яровой пшеницы. В девятой пятилетке колхоз продавал государству до 30 тысяч центнеров сильных и твердых сортов, в десятой — реализация ценных сортов достигла 40 тысяч. За содержание клейковины в зерне 28—32 процента колхоз получает надбавку 65 процентов к основной закупочной цене. Миллион дохода дает растениеводческая продукция хозяйству!

Пожалуй, достаточно подкреплять тезис Меркулова о том, что главным источником повышения отдачи земли были и остаются творчество агронома и труд механизаторов. Нельзя не упомянуть в этой связи о другой, обратной стороне, когда отсутствует творческий накал агронома.

Довелось мне присутствовать на одном совещании главных агрономов Алтайского района. Заместитель начальника краевого

производственного управления сельского хозяйства Анатолий Борисович Мишин учинял опрос по вопросам обработки почвы.

— Волнует ли главных агрономов то обстоятельство, что склоны пахутся отравно, что плодородие сносится и ветром, и водой?

Главный агроном совхоза «Советская Сибирь» Д. В. Кириллов сказал:

— Плоскорезная обработка внедряется медленно потому, что нет техники, купили только 6 плоскорезов. Много ли ими обрабатываешь? В прошлую весну от ветровой эрозии погибло 1200 гектаров посевов. Надо что-то делать.

А вот что сказал главный агроном совхоза «Мишуринец» Н. Е. Беляев:

— Да, водная и ветровая эрозия свирепствует на полях. Вероятно, еще не перешагнули через психологический барьер. Науку, что ли, подключили бы.

— Какую науку подключать, — возмутился Мишин, — когда все обрабатывают, убедившись, а в Алтайском все барьер не перешагнут.

Видно, равнодушное отношение главных агрономов к проблеме защиты почв от эрозии, к внедрению нового передового серьезно беспокоит краевое управление.

Мишин спрашивает:

— Есть ли в совхозах книги истории полей, карты размещения культур на полях?

Молчание.

— Ведет ли агроном накопительную ведомость?

Молчание.

Не последовало ответа и на вопрос внедрения высокоурожайных перспективных сортов.

* * *

Велик земной шар! Несколько тысяч километров в диаметре, а слой почвы всего несколько сантиметров. Какая животворящая сила заключена в нем? Взаимодействуя с солнцем, почва создает все, что называется жизнью на Земле.

Земля является необходимым условием для всякого производства, в сельском хозяйстве она выступает как основное средство производства (машины, постройки) по мере использования изнашиваются и заменяются новыми. Земля же не изнашивается, а по мере правильного использования постоянно улучшается. В статье 12 нашей новой Конституции записано: «Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно относиться к ней, повышать ее плодородие».

Предгорная зона наделена природой огромными потенциальными возможностями, но отдача гектара земли еще не пропорциональна им. Разумное использование богатства, применение новых прогрессивных приемов обработки, перспективных высокоурожайных сортов позволит выравнивать контрасты предгорных земель и получать от них не минимум, как сейчас, а максимум, как этого требует время.

Виктор СЕРЕБРЯНЫЙ

„...НОШУ С СОБОЮ“.

Минуты, словно люди, не равны,
хотя права им равные даны.

Вячеслав Кузнецов

Сначала я узнал, что в Вильнюсе вышел сборник очерков об Алтае. Автор их — Витаутас Алманис — восемь лет проработал у нас в крае лесничим. Потом выяснилось: очерки напечатаны по-литовски и, чтобы прочитать, их сначала нужно перевести на русский.

Добраться до литовского городка Титувенай мне удалось только года через полтора. И вот по одну сторону асфальтовой дороги — ровный ряд одноэтажных и в два этажа домов, окраинная улица небольшого городка, по другую — густой и высокий лес. Там, где с асфальта ныряет в пушу грунтовая дорога, темнеет нечто могучее, угловатое, грубо сработанное когда-то топором. Словоохотливый старик у конечной остановки автобуса говорил: «Увидишь столбы — там и свернешь».

Столбы были похожи на два вздыбленных коленвала из прокопченных стволов, в соединении это выглядело древним божеством. На сооружении не то вырублено, не то выжжено «Гирининкья» — лесничество.

От мрачновато-романтического знака велело стариной, он обещал темную непроходимую пушу, но дорога оказалась светлой. Светлыми были кроны лиственниц, сосен, берез, ольхи, дуба, липы, светло и возвышенно пели птицы.

Когда дорога выбежала на лесную поляну с двухэтажным деревянным домом и хозяйственными пристройками, в глаза бросились расположившиеся тут и там легкие скульптурные группы из замысловатых тонких и светлых стволов деревьев. У одного из деревянных человечков, будто шагающего от леса к дому, на протянутых вперед руках — глиняная ваза, из которой тянутся к солнцу цветы... У другого, сидящего, пристроился на коленях трехметровый камертон, устремленный длинными рожками ввысь.

«Мне виделось, что это — музыка», — уточнил позднее Алманис.

Витаутас Алманис оказался человеком крепко сложенным, рослым, с широкой черной бородой и с внимательными строгими глазами.

ВИТАУТАС: Еще в седьмом классе я полюбил Пришвина. А жили мы в лесной деревне. Вот и поманила таежная романтика.

У жены Витаутаса — Юлии — порывистой, открытой женщины, увлечения были другие.

ЮЛИЯ: Никогда не мечтала работать в лесу, думала филологией заниматься, но пошла за своим человеком.

Юлия «пошла за своим человеком» не просто в лес. Поехала из родной Литвы в далекую алтайскую тайгу. Оставила школу, где преподавала несколько лет, отдалась от университета, в котором окончила заочно три курса...

ВИТАУТАС: Это было наше свадебное путешествие. Хотели проверить себя в трудностях. Сибирь! И пугала и радостно потрясла природа: поезд подходил к станции через снега, как через тоннель. Вышли — из-под снега только трубы торчат, так занесло избы, а у труб собаки калачиками свернулись. Все непривычно.

ЮЛИЯ: Я стояла и плакала: почему такие заборы у них? Почему по два платка на женщинах? Почему печки такие? Со всем другой мир! Сейчас мне самой смешно и немножко грустно, потому что это уже прошлое... Сперва в школе работала. А потом не было помощника лесничего в Сунгайском лесничестве. Муж говорит — иди, работай. Пошла работать — муж заболел, и мне пришлось сразу за лесничего работать. Но ничего... Закончила курсы лесничих. Потом из университета перешла в Бийский лесной техникум, на третий курс, и его закончила. Надо!

Кто видел в те годы Алманисов, запомнили спокойную деловитость Виктора Михайловича, как называли здесь Витаутаса, постоянную готовность его к действию. Выделять ли участок для лесозаготовителей, наказать ли самовольного порубщика, пропалывать ли участок, где топорчатся пушистые ростки будущих кедров, применить ли санкции к тем, кто, вывезя лес, оставил после себя делянку необработанной — Алманис поднимался легко и скоро, а если нужно было, помогала Юлия. С такой же деловитостью, без лишних слов и не впадая в азарт, мог он, если следовало, и вышвырнуть за дверь какого-нибудь наглеца, и упрямо воевать

с пожаром в тайге... А однажды, когда группа много позволявших себе предприимчивых людей, обстреляв из мелкокалиберной винтовки тракториста, увела для своих надобностей леспромхозовский трактор, обслуживавший лесничество, Витаутас преодолел вплавь холодную весеннюю реку, пришел в село прямо к виновику, взял его за воротник и приказал спокойно: «Пиши заявление в сельсовет, как вы это сделали».

ЮЛИЯ: Помню, после дождя в тайге машина наша сломалась. Помощи ждать неоткуда, а дома — ребенок маленький. Ох, и переживала! И тонуть приходилось. И с коня падала — седло слабо держалось. Конь, когда его седлала, надувался (хитрый был конь), а в дороге делался вдруг более худой! У всех неумелых, наверное, такие случаи были. Виктор тонул — за запчастями поехал... Дети там пропадали в тайге, вся деревня искала. Даже как-то угорали из-за неумелого обращения с печью. Самое трогательное, что там дети родились, на Алтае, там росли. И много деревьев посадили.

Испытание было выдержано. Сыну пора в школу, да и тянуло на родину. И Алманисы вернулись в Литву.

Что дали им восемь лет, прожитых частью в Присалаирье, частью — в огромном тогда Акташском лесничестве?

ВИТАУТАС: Что нам дал Алтай? После Сибири нам везде легко работать.

Тут можно отметить вот что: в Титувенском лесничестве людей все время не хватало. А вернулись Алманисы — стало хватать. Объясняется это очень просто: пошли к школьникам, вовлекли. В конторе лесничества — целая выставка рисунков школьников. Ребята рисуют деревья, белок, медведей, кабанов, оленей, зайцев, лесных птиц... Еще деталь: в лесхозе говорят, что мотопилщики предпочитают работать с Алманисами. Больше зарабатывают. За счет чего? Расценки-то одни у всех. Организованнее работа!

В библиотеке «Огонек» в 1977 году вышел сборник очерков Николая Быкова «Черный аист». Открывается книжка очерком, опубликованным в «Огоньке» и посвященным Алманисам. Листаю, выуживаю штрих за штрихом.

«Такую зиму и ждали, — заметил лесничий. — Еще с осени синицы стучали в окна. В тепло просились».

Это — про наблюдательность и накопленный опыт.

«Гектар соснового бора поглощает более 30 тонн пыли!»

Осведомленность. И даже, пожалуй, база для жизненной программы.

«Вот расчистили ветровал и липы посадили. Не все меня понимали сначала: в ольшанике — и вдруг липовая аллея! Четыре гектара — и мед, и аромат, в будущем прекрасные деревья!»

Это — уже деловитость. А вот еще: «Необходимо уже сейчас позаботиться об уплотнении леса, чтобы дети наши могли получить с того же гектара больше кубометров древесины и кислорода». Чувство ответственности...

Но мне все недостает чего-то, как мне

кажется, главного в Алманисе. Может быть, оно вот в этих строчках?

«Но как же без болота — это же целый мир. Реликтовые растения, птица водоплавающая, трели лягушек по весне. А то у нас даже змей нет!»

И вдруг строки — в самое сердце:

«Витаутас привез 6 тысяч семян лиственницы и посеял на земле Берженая». (Там находится одно из литовских лесничеств.)

«...А пихту он находил в горах, выкапывал, хранил и отослал однажды со знакомым в Литву... Вот здесь они — 5 тысяч деревьев Алтая...»

За этим — и память сердца, и щедрость, и широта, и неутомимость, и все остальное, что принято сокращенно называть коротким и безграничным словом «любовь».

А ведь надо было не пропустить ее прихода, услышать, встретить, дойти, куда она позовет...

ЮЛИЯ: Я даже не знала, что есть такой край, а сейчас вот как закроешь глаза — эти альпийские луга, уходящие в небо... Конечно, до них добраться трудно, но когда залезешь на высокогорье, чувствуешь, что поднялся над повседневностью, над бытом. Еще есть горные озера и реки. Когда шли к озеру Горных Духов, три раза блуждали. Чуть не замерзли — в июле!

И Витаутаса не отпускает Алтай — вот уже три книжки написаны и изданы, а всякий удобный вечер он садится за стол, чтобы еще что-то из увиденного и пережитого сделать достойным своих земляков. Вот строки, переведенные Юлией Ионовной:

«Попробуйте-ка попасти скот в горах, далеко от дома! Особенно зимой! Всю зиму дует ветер, в некоторых долинах воздух охлаждается до такой степени, что трескаются лиственницы... Во время окота почти всегда дуют бураны. Но ягнята не должны погибнуть. Пастухи не спят целыми сутками, ухаживая за слабыми новорожденными существами, своим телом согревая их.

А наши лесники, а лесорубы? Долгие зимние месяцы они в тайге готовят срубы. Иногда приходится ночевать под кедром или в утлой охотничьей избушке.

Но летом морозные долины покрываются яркими цветами, и не пронзающий до костей ветер свистит по снежным полям, а витают теплые запахи разнотравья, соблазняя положить голову на охапку сена после третьего стакана чая...

Наш покос на самом берегу Чуи. Местами он зарос кустами желтой акации, лиственницей. А над нами — каменная стена. Там, вверху, кое-где белеют нерастаявшие снег и лед, оттуда струятся ручьи... Улучив свободную минуту, идем за черной смородиной, которая растет прямо над нашими головами на курумах. На ягоду смородина похожа на кислую, только ягоды черные и сластят. А сколько дикого крыжовника! Только ходить по курумам опасно — можешь рассыпать собранную ягоду и... свои кости!»

У Витаутаса — наблюдения зоркого и

вдумчивого человека с юмором. Юлия же воспринимает мир как поэт:

Из глубины гор, из темноты рудников
Напысь я познания.
Как хлеба — правды познания
Немножко отломлю...
И, отгадав и поняв
Хотя бы начало вулканов,
Таинственно молчаливой
Приеду домой...

Какие они разные и как неотделимы один от другого — Витаутас и Юлия. Один для другого — как глаза, чтобы видеть, как сердце, чтобы полнее ощущать жизнь, как мышцы, чтобы идти...

А идти за Витаутасом не просто.

Вот он шагает чуть впереди меня своими широкими шагами неутомимого хозяина пуши, которому нужно успеть везде доглядеть, а я едва поспеваю за ним — надо поспевать, раз захотел увидеть хоть кусочек живой работы лесничего.

В доме у Витаутаса такой вид, будто он зашел туда за минутку, бревенчатые стены словно сужают, отрезают для него широту мира. В конторе лесхоза вообще кажется, что за порогом остался и ждет его мотоцикл с незаглушенным мотором — именно мотоцикл, а не автомобиль, у которого кузов опять-таки отделил бы Алманиса от его леса. А вот в лесу он живет движением, задачами, за которыми ощущаешь впереди какую-то всеобъемлющую, главную... Как это важно, чтобы человек знал, куда идет...

На лесной полянке девчата шустро дергают обеими руками траву, отбрасывают в сторонку в валок, а там, где они уже прошли, остаются только рядки выстроившихся гуськом крохотных елочек. Это — школка. На небольшом участке выращиваются пикеранты, а потом, окрепшие, высаживаются, где нужно. И ухода не надо, а то приходилось бы ухаживать за посадками на больших площадках. (Метод этот в нашей стране первыми применили литовцы, переняв у ГДР.)

Лесничий здоровается с девчатами сдержанно, деловито — в ответ вспыхивают девичьи глаза, а руки их продолжают вызывать еловую малышню от наступающей травы. На бугорке рядом сидят, курят два парня. Витаутас не устаивает их взглядом, перекидывается несколькими словами с работающими, потом раздается веселый смех. Парни, кажется, смутились — гасят сигареты, вразвалку присоединяются к остальным, склоняются над грядками. А Витаутас своим легким пружинистым шагом уже устремляется дальше...

Вдруг он поворачивает ко мне лицо.

— Обычно для восстановления леса садят деревья там же, где рубят. Это неправильно. Если сохранен подлесок, садить нужно только на прогалинах. Люди не хотят думать!

Опытом и мыслями он делится, не сбавляя шага, лишь изредка скашивает на меня глаза чуть назад и вниз. Больше всего заняла меня удивительно экономная система общения лесничего с рабо-

чими, его умение воздерживаться от лишних разговоров.

— Некоторые любят поспорить: не буду делать и прочее. Руководитель начинает доказывать, настаивать. Получается базар. Я в таких случаях лучше промолчу, знаю: ему просто надо выговориться, а потом он все равно пойдет, сделает.

Алманис снова некоторое время идет молча, постом продолжает:

— Бывает, какой-нибудь шофер любит поиздеваться над начальником, особенно новым. Скажет: не заводится мотор. И начальник считает делом чести найти неполадку, поспрашивать шофера. Я смотрю так. Ты специалист, ты получаешь зарплату за свою работу, так делай ее. У меня другая специальность: я должен организовать работу, если надо, достать запчасти — ты мне скажи, какие. Если в дороге застряли, я первый возьму лопату. Подменять же шофера я не должен. А то бывает: начальник копается в карбюраторе, шофер смотрит, а люди стоят, ждут. Они не получили задание, потому что начальник не тем занят.

Жестковатый рационализм Алманиса может кому-нибудь показаться признаком сухости. Сентиментальности в нем действительно маловато. Но разве не выше такой чувствительности, обильной на внешние выражения, его постоянное стремление переводить свои мысли и чувства в немедленное действие? Обнаружили с Юлией в лесу могилу убитого фашистами врача — сообщили, куда следует, но сельсовет не отреагировал делом, и Витаутас с Юлией сами стали за ней ухаживать. В другом месте наткнулись на чугунную плиту, сообщавшую, что там похоронены участники крестьянского восстания. Натаскали к надгробному камню земли, посадили нарциссы, тюльпаны...

Пока мы, по его представлению, ходили, а по моему — носились по лесу, в лесхоз пришло сообщение, что возле дренажной канавы для осушения болота обвалилась часть грунтовой дороги. Лесничий немедленно добыл какой-то автобус, рабочих с прополки пикерантов перевез на место повреждения. Оказалось: устроенная бобрами плотина подняла в канаве воду, и она подмыла полотно дороги.

Витаутас признался: «Меня еще с осени на всех совещаниях склоняли, что я не ломаю плотину. Так ведь нельзя было: куда бобры зимой с маленькими денутся? Пропадут! А сейчас у них бобрята большие, место себе найдут».

А вечером я увидел Витаутаса, идущего по лесу медленно. Это дочка, одиннадцатилетняя Рита, сказала: «Хочу на озеро!» И трудно было понять, кто кого повел через лес.

Юлия тем временем тащит в дом ведро с водой, включает магнитофон, хватает тряпку и начинает драть полы, вслушиваясь в спокойную музыку давних веков. Как и от стихов, от песен организованного Юлией фольклорного ансамбля веет величием, глубиной чувств.

На стеллажах, на стенах и просто на полу — карты гор Алтая, Таджикистана, Кабардино-Балкарии, коллекция коргон-

ских минералов, раковины из Абхазии, фигурки из лесных корней или веток, шкура дикого кабана, ржавый жезл с изображением солнца — знак языческого бога Перуна, чеканка, альбомы картин крупнейших художников мира, книги по искусству, энциклопедии, художественная литература на русском и литовском языках... Трогательный Ритин рисунок, сделанный не то плотной акварелью, не то очень чистых тонов гуашью: лес, палатка под сосной, озоруют стройные медведи, похожие на чертиков, пытаются не то порвать палатку, не то проникнуть в нее. Один медведь лижет кучку рафинада. А рядом — не испугавшиеся Рита в резиновых сапожках, Андриус, мама, чернобородый папа в красной рубахе, видно, только вышли из палатки, стоят, наблюдают...

Между делом узнаю: имя большой белой мускулистой бабки Заны, охраняющей дом, означает самка снежного человека. Поиски снежного человека — еще одно увлечение Алманисов, привезенное из гор... И каждый из друзей, которых у Алманисов много, связан с каким-то из их увлечений. На Алтае — это заядлый путешественник, спортсмен-турист барнаульский инженер Абрам Аронович Лейтес; усть-канский охотник и пчеловод Анисим Зиновьевич Медведев; лесники Акташа...

ВИТАУТАС: Интересная деталь — жители Алтая говорят по-русски, я — по-литовски, но понимаю их лучше, чем инорода своего соседа, хоть мы на одном языке говорим.

Недавно прибавился у них еще один друг на Алтае: поэт Борис Укачин.

Разумеется, много у Алманисов друзей и в Литве. Среди них писатели, переводчики, работники телевидения, создатель и руководитель известного театра в Панивежисе Мильтинис...

Поздно вечером, уже когда легли спать, тринадцатилетний Андриус на соседней кровати, задумчиво глядя в какую-то свою бесконечность и напряженно морща красивый высокий лоб в крупных русых прядях, спрашивает:

— Почему в разных языках слова похожие? По-русски медведь — мишка, по-литовски — мешке. По-русски — Перун, по-литовски — Пиркунс. Алтайских злых духов зовут почти как литовского крота — курмеса. И соревнуем: у нас — байгас, у казахов и алтайцев — байга. Ланцюг, кишениа, мур, крейда — одинаково по-литовски и по-украински: цепь, карман, стена, мел...

Андриус тоже что-то сочиняет: его тянет к жанру легенды. И вот он заявляет: «Нечего было делать, боги вздохнули, и вздох превратился во мглу...» А Юлия, грустно улыбнувшись, усаживается за стол и начинает писать:

Хорошо, если вздох (когда нечего делать),
Во мглу превращается,
Хорошо, если мгла
Может сиять через тысячи лет...

Неотвратимость и всенаправленность эстафеты творчества: мать Юлии Мария Антоновна, сухонькая старушка, спящая по дому с кастрюлями, — она приехала на время помочь Алманисам — тоже недавно стала писать рассказы о былом. Привозит тетрадки со своими сочинениями в полиэтиленовом мешке, переброшенном за плечо; Юлия потом разбирает эти письма и перепечатывает на машинке.

— Я училась читать у подружки! — кричит Мария Антоновна. — Я родилась в 1912 году. Я говорю: послушайте меня, вы не знаете, как жили! Хлеб и соль — самое важное на земле! А его с мусором в машину бросают.

Чем больше вбираю в себя мир этих людей, тем привлекательнее он для меня, и в то же время растет чувство, которое я пытаюсь осознать с помощью Алманисов.

— Вы в своем лесу не ощущаете себя отрезанными от мира?

ВИТАУТАС: Не ощущаю. Недавно у нас были молодые люди. Они прочитали стихи Юлии и приехали. Особенно весной много людей приезжает. Кто собирается на Алтай. Спрашивают дороги, тропы. Ну и наши сибиряки-знакомые. И сами часто ездим в Вильнюс.

ЮЛИЯ: Я сейчас в Вильнюсе месяц была. Я, конечно, бегала, потому что хотела побольше узнать, увидеть. У столичных зрителей есть потенциальная возможность ходить на концерты, в театры, а они редко ходят. Сегодня я достала билеты на балет. И друзья охотно повезут нас на машине. А книги читать везде можно.

(Уже после этого разговора, правда, получили Алманисы лесничество совсем рядом с Вильнюсом. И перенесли и сюда свою атмосферу умной доброй сказки.)

На полках книжных шкафов у Алманисов тот бросающийся в глаза непорядок, который бывает, когда книгам не удается подолгу лежать без движения.

Раскрываю подарок барнаульца Лейтеса — книгу известного популяризатора-энтомолога Халифмана: «Для одних любителейство — это башня из слоновой кости, уход от реальной жизни. Для других — это еще один привод, еще один способ участия в жизни».

Витаутас заметил, говоря о своем брате Иозасе, шофере: «Если запереть его в комнате и дать только кусок железа, то скоро из этого железа получится двигатель».

Мне кажется: если поселить Алманисов в безлюдной пустыне, то скоро из этой пустыни получится лес, в который станут съезжаться новые и новые друзья. Ибо кто еще может сказать с тем же правом, что Алманисы: «Все свое ношу с собою». Если даже алтайские леса в Литву они сумели принести!

Велик мир, но весь его Алманисы носят с собой и одаряют им других людей.

Л. БОРИСОВ

ВЫСТРАДАННАЯ ПАМЯТЬ

«Не кажется ли вам, господин Исаев, что ваша литература слишком много говорит о войне, о памяти?» Такой вопрос был задан известному советскому поэту Егору Исаеву на читательской конференции в Ньюкасле. Выступая на только что прошедшем V съезде писателей России, Е. Исаев рассказал о том, как он ответил зарубежному читателю, как привел факты и цифры, за которыми и по сей день ощущимы горькая боль утраты, живая рана в сердце народном: «Мы потеряли в войну 20 миллионов близких, дорогих своих — 20 миллионов, а может быть, даже и больше!»

Не писать, не вспоминать, не говорить о минувшей войне значило бы для наших писателей забыть святую вежу в судьбе Отечества, кощунственно предать память поколений. Вот почему так убедительно, правдиво прозвучали слова Е. Исаева: «Мы выстрадали свою память. И объем, и вес этого выстраданного всегда будут определять объем и длительность нашей памяти, длительность разговора о войне. И ее, такой памяти, и его, такого разговора о войне, хватит не только нам, но и нашим детям, нашим внукам».

Если обратиться к прозе последних лет, то «длительность нашей памяти» прекрасно воплотилась в талантливые романы, повести, рассказы, документальные воспоминания. Это социально-философские романы «Берег» и «Выбор» Ю. Бондарева, политический роман «Победа» А. Чаковского, романы «Война» И. Стаднюка и «Тяжелый песок» А. Рыбакова, повести «Пастух и пастушка» В. Астафьева, «Живи и помни» В. Распутина, «Клавдия Вилор» Д. Гранина, «Блокадная книга» А. Адамовича и Д. Гранина, «Хатынская повесть» А. Адамовича, «Пойти и не вернуться» В. Быкова, «Усвятские шлемоносцы» Е. Носова, «Сашка» В. Кондратьева...

Особенно заметен вклад Константина Симонова в прозу, киноискусство, телепублицистику семидесятых годов, отражающих подвиг советского человека в Великую Отечественную. «Шел солдат...», «Чужого горя не бывает», «Двадцать дней без войны», роман «Так называемая личная жизнь», военные дневники «Разные дни войны» — все эти проникновенные работы большого художника красноречиво свидетельствуют: он был до конца дней своих неутомимым подвижником, уни-

кальным летописцем ратной солдатской славы, патриотического величия нашего народа.

Примечательно, что сегодня литература о Великой Отечественной войне глубоко пронизана историзмом, что именно с ней связано усиление психологизма, лиризма, роли документа в художественном повествовании. Новые произведения о войне наглядно воплощают разнообразный стилиевой поиск, новаторское освоение лучших традиций прошлого. Романтическая приподнятость, аллегоричность и философичность притчи, сила и выразительность реального факта, документа, хроники, яркость бытописания и тонкость психологического анализа — все это составляет ткань и форму нынешней военной поэзии и прозы, драматургии и киноискусства.

...Почти тридцать лет тому назад бывший фронтовик Виктор Астафьев писал свой первый рассказ «Гражданский человек». Писал на серых, пронумерованных страничках «казенного» дневника записей ночных дежурств (из-за ранений В. Астафьев был вынужден искать «легкую» работу ночного дежурного). Рассказ автор посвящал своему боевому другу связисту Матвею Савинцеву. Матвей — родом из алтайской деревни Шумихи, в прошлом тракторист. Рассказ о друге возник из желания написать о войне, о трудной победе как можно правдивее, точнее, наперекор отдельным произведениям, где царили облепченность и парадность.

Но только позднее, в новой редакции рассказа, озаглавленного теперь «Сибиряк», удалось писателю поведать о героическом подвиге Матвея Савинцева, о том, как умирал солдат среди бесконечного ржаного поля, о том, как «земля, пахнувшая дымом и хлебом, приняла его с тихим вздохом».

В «Гражданском человеке» финал был таков: солдат попадает в госпиталь, куда, конечно, не запаздывает и награда за храбрость. Этот финал крайне противоречил и замыслу автора, и героической смерти Матвея Савинцева, чье имя автор оставил в художественном произведении подлинным. Но тогдашним редакторам Астафьева смерть литературного героя казалась ненужным проявлением пессимизма, от которого они и постарались убеждать начинающего художника.

Пример с рассказом Б. Астафьева —

яркий штрих, характеризующий сложный путь нашей литературы о войне, ее неодолимое стремление к полноте воссоздания всенародного подвига, драматического, трагедийного: «Бой идет святой и правый, Смертный бой не ради славы, Ради жизни на земле».

Естественно, что литература о Великой Отечественной войне привлекает пристальное внимание литературоведов и критиков. «Лирика и эпос Великой Отечественной войны» (М., «Советский писатель», 1972) назвал свою монографию известный литературовед Анатолий Абрамов. В предисловии он пишет: «Русская советская поэзия периода Великой Отечественной войны приобрела действительно большого читателя. Некоторые ее произведения не только перешагнули особую литературную среду и даже круги любителей поэзии, и без того довольно широкие в нашей стране, но и вошли в духовный мир миллионов. Таким образом, они приобщили к числу любящих поэтическое слово такие массы людей, о которых поэзия в прошлом и не могла мечтать».

А. Абрамов досконально исследует военную лирику А. Твардовского, А. Суркова, К. Симонова, Н. Тихонова, А. Прокофьева, М. Алигер, С. Маршака, И. Сельвинского, других видных советских поэтов. Заметное место занимает в монографии глава «Летопись сопротивления», в которой рассказывается о поэзии, «рожденной за колючей проволокой фашистских концлагерей», о бывших поэтах-узниках Григории Люшнине, Иване Ковалевском, Михаиле Авиллове, Николае Фомичеве, о безымянных авторах, чьи стихи находили в развалинах фашистских лагерей смерти. Хочется привести стихи Ивана Ковалевского, написанные им в июле 1942 года во владими́ро-во́лыньском застенке на оккупированной гитлеровцами русской земле:

Да, знаю я:
В плену спасенья нет,
Но, пока жив,
Я рук не опускаю.
Вчера — солдат,
Сегодня — я поэт
И силу слов,
Врага разящих,
Знаю.

Сила слов, мужество, любовь к Родине делают эту поэзию легендарной страницей в истории нашей советской многонациональной литературы. Широту монографии А. Абрамова придает и анализ поэзии военного поколения. Сегодня поэзия С. Гудзенко, М. Луконина, А. Недогонова, С. Орлова, М. Дудина, А. Межирова, С. Наровчатова, Б. Слуцкого, Д. Самойлова хорошо знакома самому разнообразному читателю. Но именно в суровые военные годы обретали эти поэты известность, именно «сороковые, роковые» были для них прекрасной школой жизни и мастерства.

Фундаментальный труд А. Абрамова — глубокий свод знаний и размышлений о советской поэзии в тяжелый, трудный момент ее отважного и бескорыстного служения своему народу, своей Отчизне.

Сравнительно недавно на страницах журнала «Молодая гвардия» (№ 11, 1979) появилась большая статья новосибирского критика Юлия Мосткова «Поэты в солдатском строю». Она имеет подзаголовок «Поэзия Сибири в годы Великой Отечественной войны». Центральная ее мысль: «Поэты Сибири в годы Великой Отечественной войны так же, как поэты всей страны, сделали для победы все, что могли. Многие из них ушли на фронт, в бой они действовали пулеметом и винтовкой, гранатой и автоматом. Когда же стрельба и разрывы стихали, их оружием становилось слово, звавшее на разгром врага. Строки стихов создавались в минуты передышки, у походных костров, в окопе, зачастую сразу после только что отгремевшей схватки...»

Ю. Мостков находит очень сокровенные слова, чтобы поведать о творчестве поэтов-сибиряков Георгия Суворова и Бориса Богаткова, павших смертью храбрых в боях за родину. Критик приводит удивительные по лиричности, по чувству патриотизма строки Б. Богаткова:

Впереди — города пустые,
нераспаханные поля.
Тяжко знать, что моя Россия —
от того леска — не моя...

Они не дожили до того великого момента, когда вся наша страна была освобождена от германских оккупантов, когда наши воины освобождали Европу от фашистского ига. Но они свято верили в этот миг, в этот исторический день. Вот что писал Г. Суворов:

Вперед, на запад! —
Дерзкая мечта...
Я знаю, нас никто не остановит.
Целуют землю русскую уста,
Отбитую ценой солдатской крови.

Подробно, с большим знанием материала говорит Ю. Мостков о поэтической работе на передовой и в тылу И. Мухачева, К. Лисовского, И. Молчанова-Сибирского, А. Ольхона, И. Луговского, Е. Стюарт, Е. Жилкиной, А. Смердова, Л. Решетникова, И. Ветлугина, Н. Мейсака... Критик подчеркивает, что у сибирских поэтов «органически возникает тема единства фронта и тыла». Ратные подвиги сибиряков стали уже хорошо известны в первые месяцы войны. В битвах под Смоленском, под Ельней, под Ленинградом сибиряки проявили чудеса героизма, удивительной стойкости, силы. Сибирь трудовая ковала для победы первоклассную военную технику, строила боевые самолеты, снабжала армию теплой одеждой, продовольствием. Лозунг «Все для фронта» объединял сибиряков, производственные коллективы, эвакуированные сюда из европейской части страны, мобилизовал на максимальную нравственную и жизненную отдачу, на героическое самопожертвование. В эту грозную пору поэты-сибиряки активно участвовали в выпуске агитплакатов «Окон ТАСС», издавали стихотворные сборники с красноречивыми названиями

«Клятва», «Верность», «За Родину!», «Сибиряк Тарас Клинков», «Из полевой сумки», «Отважные ребята», «Разведчики». Они славили снайперскую винтовку эвенка Увачана, подвиг сапера-сибиряка П. Лазарева, слагли песнь в честь «упорного труда» рудолава и забойщика, лесоруба и чабана, зверобоя и рыбака.

В обстоятельную, очень насыщенную фактами статью Ю. Мосткова хочется «вписать» еще одно поэтическое имя — имя исследователя Сибири, профессора Петра Драверта. За участие в освободительном движении он был сослан в Якутию в 1905 году. Но «гиблые места» не сломили ученого — он навсегда полюбил Сибирь, стал заниматься здесь научным и литературным трудом. В сборнике П. Драверта «Незакатное вижу я солнце» (Новосибирск, 1979) омский литературовед и критик Е. Беленький приводит слова ученого и поэта из обращения к своим землякам, слова, произнесенные в первые дни Великой Отечественной войны: «Граждане! Почти четверть века я живу в Омске, идя плечом к плечу с вами на путях нашего мирного строительства дорогой поэта и научного работника.

Сердце поэта бьется в унисон с сердцем народа. Сердце русского ученого — это сердце советского гражданина. В эти дни навязанной нам войны как нельзя более чувствуется, что любая профессия должна быть у нас связана с делом страны, с моральным и физическим уничтожением врага, перешагнувшего священные рубежи нашего Отечества. И, забывая тяжесть лежащих на моих плечах лет, я скажу: «Родина! Мысль о твоём благе владеет моим пером писателя, мои руки и глаза исследователя природы будут служить тебе, пока бьется мое сердце».

Страстная речь П. Л. Драверта, его стихи «Разбить врага», «К победе!» — высокий пример гражданского служения народу, Родине, так характерного для советской интеллигенции.

...Библиография научных трудов, критических работ, посвященных литературе о Великой Отечественной войне, сегодня очень велика. Безусловно, самые фундаментальные, интересные работы минувшего десятилетия — это монографии П. Топера «Ради жизни на земле» (М., 1979), А. Бочарова «Человек и война» (М., 1973), Г. Ломидзе «Нравственные истоки подвига» (М., 1975) и др.

Эти работы охватывают очень и очень многие произведения о войне, созданные в 40—70-х годах. Очень разнообразен и жанровый анализ литературы военной темы. Исследователи активно привлекают в контекст достижения национальных литератур народов нашей страны. Характерны эти монографии и «выходами» на русскую классику, обращением к современной зарубежной литературе. В названных книгах прослеживается тенденция к эстетическому осмыслению таких понятий, как природа гуманизма, социально-нравственный потенциал личности, новые аспекты в развитии категории героического, художественный пафос героической трагедии и др.

В этих «общесоюзных» исследованиях

есть, конечно, обращение к произведениям писателей-сибиряков, в частности, к романам П. Проскурина, В. Липатова, повестям В. Астафьева, В. Распутина, Н. Наволочкина. Однако имена литераторов Сибири и Дальнего Востока фигурируют на страницах этих изданий в целом весьма редко. (Естественно, что разрешая актуальные проблемы военной прозы, авторы рассматривали наиболее яркие, «качественные» ее явления, и все же сибирский регион здесь мог бы быть полнее.)

«Пробел» в этом плане восполняют работы литературоведов Сибири. Примером могут служить сборник литературно-критических статей Владимира Шапошникова «Продолжение знакомства» (Новосибирск, 1976), монография Эдмунда Шика «К сердцу человека» (Новосибирск, 1979).

Одна из статей сборника В. Шапошникова называется «Шедшие в атаку», а ее подзаголовок — «Заметки о военной прозе писателей-сибиряков». Критик анализирует роман А. Чмыхало «Три весны», повествующий о поколении юношей и девушек, чье вступление в большую жизнь совпало с началом Великой Отечественной, повести А. Соболева «Безумству храбрых...», П. Корякина «Прощание Славянки», герои которых также молодые ребята, и им предстоит испытать окопы, бомбежки, жестокие бои... В поле зрения исследователя и книга В. Сапожникова «Рассказы старшины Арбузова», документальная повесть С. Зарубина «Не ходи на нас!», повествование Л. Кеккелева «Землячок» о «сыне полка» — тринадцатилетнем бойце Пете Шепелеве. В. Шапошников подчеркивает, что многие «авторы — участники Великой Отечественной — находятся сейчас в самом расцвете творческих сил, и их богатый жизненный и фронтовой опыт позволяют надеяться, что тема войны еще не раз прозвучит в сибирской литературе». К этому стоит добавить — военная тема должна прозвучать так у «местных» писателей, чтобы она получила заслуженный, широкий резонанс во всей советской литературе.

Э. Шик специально не выделяет тему Великой Отечественной в современной прозе Сибири. В центре его литературоведческой работы — проблема историзма, включающая вопросы психологизма, лиризма, соотношения документального и вымышленного в литературном произведении. Однако эти важные теоретические понятия проверяются художественной практикой, новыми книгами писателей-сибиряков, а среди этой прозы — немалая доля военной. Исследователь обращается к повестям А. Соболева «Бушлат на вырост», Б. Костюковского «Нить Ариадны» (о героях войны Ариадне Ивановне Казей и ее брате), подробно разбирает мастерство, психологическую насыщенность повестей В. Астафьева «Пастух и пастушка», «Живи и помни» В. Распутина. Э. Шик справедливо указывает — писатели военной темы через события прошлого подчас ставят острее проблемы современности.

...Военная тема нашла интересное воплощение и в творчестве писателей Алтая. Достаточно вспомнить стихи И. Фролова,

М. Юдалевича, Б. Каурова, романы Н. Дворцова «Море бьется о скалы», Л. Квина «Звезды чужой стороны», повести и рассказы А. Демченко, П. Старцева, Г. Егорова, мемуары И. Жолобова.

Новое поколение литераторов Алтая также вносит свой вклад в поэзию и прозу о Великой Отечественной — темой военного детства, связью традиций патриотизма, лирическими размышлениями о Родине. Это хорошо прослеживается в поэзии и прозе Б. Укачина, Д. Каинчина, Л. Мерзликина, Н. Черкасова, В. Казакова, В. Башунова...

Другое дело, что на Алтае в последнее время не выходила литературоведческая, критическая работа, подводящая «итоги», намечающая перспективы, горизонты темы Великой Отечественной в творчестве алтайских писателей. А такой труд, вероятно, мог бы стать (в какой-то мере) и подспорьем в появлении новых книг в русле этой одной из центральных тем советской литературы. Ибо «длительность» памяти о великих днях народной войны у нашего советского читателя никогда не сузится, никогда не иссякнет.

Валентин КУРБАТОВ

БЕСПОКОЙНАЯ ПРЯМОТА

Порою кажется, что прощание затянулось. Деревня давно ушла вперед, наражала детей, которые землю уже только с сиденья трактора видели, в красном углу помнят только телевизор, за столом слышали только то, что по радио поют и, кажется, не очень понимают, чего это поэты и прозаики так ожесточенно печалятся о том, что умерло само собою, естественно и неизбежно. Да и в самой интонации поэтов все слышится какое-то темное, выраженное когда-то Н. Рубцовым: «Железный путь зовет меня гудками, и я бегу, но мне не по себе». Не по себе, но ведь бежит на зов и с мужеством признает: «Но хочется как-то сразу жить в городе и в селе».

И порою уже начинаешь подозревать: да полно, не оправдываются ли поэты, не сознание ли вины их точит, что вот они по городам, по спокойным кварталам и время не теснит их, позволяя проспать зарю, а люди там, в отчих краях, обессиленно пытаются сбересть родное прошлое. И уже готово сорваться ироническое слово да, кажется, уже в критике и срывается.

Но вслушаешься как следует, прочитаешь в рябющую, нервную строку, и вдруг поймешь, что да, конечно, вина томит поэтов, что страдают они от своей оторванности и оттого, что уже не могут вернуться в родные места, потому что это значило бы вернуться в мифически ушедшее время, а не на ту или иную точку на географической карте, но при этом словом своим они сберегают прошедшее полнее и лучше, чем, может быть, их деревенские сверстники.

Сохраняют так истово и ярко, с такой исконно русской нетерпеливой страстностью, что сами в этой горькой страсти уходят до времени.

У Геннадия Панова, о последней книж-

ке* которого я хочу сегодня поговорить, есть об этом прекрасные строки:

**Такие дали и певцов рождали,
которых трудно в жизни уберечь!**

А трудно потому, что на русской земле «мы и молчим на русском языке», то есть молчаньем, равным речи, горьким и требовательным — не зря первыми в своей книге Панов вызывает обязывающие к искренности и правде тени Н. М. Рубцова и В. М. Шукшина и формулирует родственное им правило миропонимания: «Тяжко видеть, стыдно умолчать».

А прощание будет длиться, пока болит сердце и пока боль отзывается бессонницей. Поэт перебирает в долгие ночи воспоминание за воспоминанием и словно медленно прозревает вспять, открывая сердцем великие уроки там, где прежде видел одну скучную повседневность.

Так являются золотые характеры бабушки Марины, изо дня в день знавшей один непосильный труд, а детям оставившей тем не менее добрые сказки о том, как «птичка за морем жила». Так выстраиваются перед читателем, как на деревенских выцветших фотографиях в общих рамках, судьбы родственников и земляков поэта в поэме «Сын села», о которой мне уже приходилось благодарно писать и где лучшие как раз те, кто во времени поближе и кто, кажется, только домом да колхозом и был занят, не видя «белого свету», как «Евдокия Панкратьева»:

**Тетя Дуся, Евдокия —
сколько вспахано — не счастье!
Где вы, ключики такие:
«32 на 36»?..**

* Геннадий Панов. Высокий полдень. Стихи и поэмы. Барнаул, Алтайское книжное издательство, 1980.

Или «Дарья Драчева», только рожавшая да работавшая, но ни разу не посетовавшая на тяжесть и боль трудной жизни, и сейчас, когда уже дети повзросли и разъехались, ищущая тоже не многого:

Вот сенца бы и дров немного —
можно было бы не тужить.

Одно стихотворение поэт так и называет — «Родня» и, представив нам всех по очереди, вздохнет:

А какая семья сошлась бы,
если б не было в мире войн!

Только тут есть еще один оттенок, который не хочется миновать — сослагательное наклонение («сошлась бы») выглядит странно, потому что поэт называет свою живую родню, которой в общем как будто ничего и не мешало соединиться. Помеха ли разные города, если есть отчая земля и крепкие руки, чтобы построить избу на всех! Не одна война тут виновата, а так уж складывается история, так строится общественная жизнь, что не удержат в доме большие русские семьи. Корни рвутся исподволь, почти и незаметно, а однажды оглянешься — все оказались рассеяны по миру, и у одних ты знаешь только имя, а у других и того нет, и сидишь вы ненароком за одним столом, начнешь неловкость, как перед чужими, потому что рассеяны уже не только судьбы, но домашние предания, здоровая устная мифология, которая, как ни грустно, держится могилами на сельском кладбище, а вдали от родных мест истаявает, как дым.

Может быть, потому особенно остра при всей элегичности лирическая поэма «Тихий колокол», где эти вопросы о родовой памяти ставятся в обычной как будто беседе молодых людей в машине со старухой, которую они «подбрасывают» к родительским могилам. Поэт забывает лирического героя и сам выходит вперед, чтобы подумать о диалектике движения:

Бешено возвращаются колеса.
Даль и высь. Дорога и кювет.
— Русь, куда ты? — не задашь вопроса.
Нет вопроса,
нет вопроса,
нет!

...Вольно распахнулась на полсвета,
удивляясь и дивя весь свет.
— Русь, куда ты? — и не жди ответа.
Нет ответа,
нет ответа,
нет!

Растущее богатство страны и знакомых своих однодеревенцев не может не радовать поэта, но не могут не беспокоить и

давние, существенные мысли о Духовном здоровье, о памяти развитии.

Полновесный рублик получает,
«Жигули» пасутся у ворот.
Но друг друга реже привлекает
и при встрече реже величает
русский уважительный народ.

Не пойму, как это получилось,
на каком своротке занесло:
от деревни песня отлучилась,
не поет, как некогда, село.

Горькие эти вопросы не отодвинешь риторической фразой о неизбежных издержках прогресса, о требованиях жизни, потому что их не разредить, — жизнь и отчие традиции, если мы хотим, чтобы развитие было здоровым и последовательно, без нервных срывов и нравственных утрат.

«Жизнь — уток, а Родина — основа», и они должны оглядываться друг на друга в каждом движении и поступке. Поэт не знает прямых ответов, да их, пожалуй, и нет, но бесконечно важно, что он с настойчивым укором напоминает, что «не легко отвечать на вопросы, а надо». И более всего ценно в сборнике, что он не забывает мужественно-ответственную традицию русской поэзии — видеть жизнь полно и не таиться в разговоре о темных сторонах. Следом за классическими поэтами России и за ушедшими и живыми дорогами ему сомышленниками и товарищами по ремеслу, чьи имена Панов поминает то в эпиграфах, то в посвящениях — Рубцовым, Коротаевым, Шукшиным, Беловым, — поэт свидетельствует, что «покоя нет», и чтобы ни случилось и как бы ни развивалась Россия в ее сумерки и в ее высокий полдень, мысль по-прежнему остро напряжена и неутолима в поисках истины:

Что случится, что еще стрясется,
ярь ли, хмарь взойдет на небосклон —
русский дух тревожится, мятется
там, где Русью
пахнет испокон!

А раз тревожится — значит развивается, хоть трудно, но честно, не забывая совет и предания.

«Высокий полдень» — большая книжка, тесно составленная (может быть, несколько даже неуважительно к самому существу стиха, требующего суверенности на странице), в ней, как в жизни, соединилось много всего и задеты десятки вопросов, беспокоящих сегодня поэзию и читателя, и если я ограничился только узкою темой родового наследования, то потому, что она сильнее болит в поэте и во мне, а придут другие — и скажут другое.
В хорошей книжке никому не тесно.

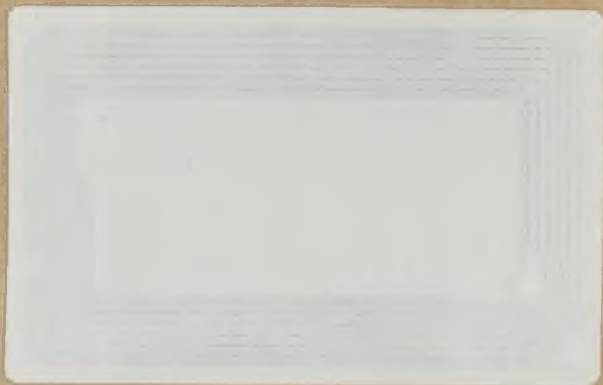
ВНОМ

ри-
ерж-
по-
нь и
тобы
льно,
грат.
ова»,
дру-
Поэт
луй,
на-
«не-
бо-
за-
ади-
пол-
сто-
ами
оги-
ами
г то
бцо-
д, —
, и
ива-
кий
на-
ы:

тся,
вес-

иж-
не-
су-
сти
ди-
во-
чи-
уз-
по-
во
ое.

Электронная библиотека АКУНЬ, elib.altlib.ru



50 коп.

На 1-й странице обложки:

А. Г. ВАГИН. «Май». Из серии «Окрестности Барнаула».

Электронная библиотека АКУНЬ, elib.altlib.ru